

Грегор Самаров

Адъютант императрицы



Грегор Самаров

Адъютант императрицы

«Public Domain»

Самаров Г.

Адъютант императрицы / Г. Самаров — «Public Domain»,

«Уже более десяти лет держала Екатерина Вторая бразды правления в своих руках, после того как ее супруг, император Петр III, был свергнут с престола и она вступила в управление могучей, но не привыкшей к внутреннему порядку Российской империи. Против всяких ожиданий, эта чуждая русскому народу принцесса крошечного немецкого государства, вошедшая на престол при помощи насильственного переворота, начала добиваться успеха за успехом. Она с удивительным умом и твердостью устраняла внутреннее недовольство и беспорядки и все преклонялись пред ее волей; она внушала страх и удивление, как на Руси, так и во всей Европе, вызываемое ею удивление возрастало с каждым днем...»

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	22
Глава 4	30
Глава 5	38
Глава 6	45
Глава 7	52
Глава 8	61
Глава 9	67
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Грегор Самаров

Адъютант императрицы

Глава 1

Уже более десяти лет держала Екатерина Вторая бразды правления в своих руках, после того как ее супруг, император Петр III, был свергнут с престола и она вступила в управление могучей, но не привыкшей к внутреннему порядку Российской империи. Против всяких ожиданий, эта чуждая русскому народу принцесса крошечного немецкого государства, вошедшая на престол при помощи насильственного переворота, начала добиваться успеха за успехом. Она с удивительным умом и твердостью устраняла внутреннее недовольство и беспорядки и все преклонялись пред ее волей; она внушала страх и удивление, как на Руси, так и во всей Европе, вызываемое ею удивление возрастало с каждым днем. Все раньше думали, что она будет отстранена от престола благодаря борьбе различных партий, тем более что некоторые из них видели в ее сыне единственного наследника престола. Кроме того всеобщее мнение склонялось к тому, что молодая повелительница наверно сделается игрушкой в руках своих любимцев, так как ее постоянно отстраняли от дел, когда она была еще великой княгиней, а затем, в короткий период царствования своего супруга, она жила почти как заключенная. Но все эти ожидания оказались совершенно неправильными: императрица Екатерина II, к удивлению всего света, выказала необычайную осторожность, смелость, глубокий ум и энергию; она короновалась в Москве среди недовольного и неприятно настроенного народа; она покорила своей воле все партии, хотя свою власть проявляла лишь в самых необходимых случаях; она высоко стояла над всеми интригами, которые господствовали при ее дворе, как это было обычно в ту эпоху; она дала очень крупные награды всем, кто способствовал ее возведению на престол, но осталась совершенно самостоятельной и независимой правительницей; она, наконец, благодаря своему умению и государственному уму, препятствовала проискам иностранных дипломатов, своею гордостью импонировала европейским дворам и, благодаря своей огромной, всегда готовой к выступлению, отлично обученной армии, во всякое время была готова доказать, что Россия снова стоит на одном из первых, достойных ее могущества мест.

Потерявший было свой блеск, царский титул снова был вознесен Екатериною Алексеевною на небывалую высоту. Графа Понятовского, преданного ей всею душою, она возвела на польский престол под именем короля Станислава Августа; несмотря на гнев польских партий, всегда враждовавших между собою и с королем, его поддержали в королевстве русские войска. Крымский хан преклонялся пред волею русской императрицы; турецкий султан, сидя в Константинополе, трепетал пред русской армией, которая по одному мановению женской руки могла перейти границы его государства; король прусский, возбуждавший всеобщее изумление, знаменитейший герой своего времени, осыпал императрицу выражениями своей дружбы и уважения; русская торговля процветала, благосостояние страны увеличивалось, новые законы утверждали порядок в государстве и Вольтер уже дал имя «Северная Семирамида» прежней маленькой Ангальт-Цербстской принцессе.

Швеция и Дания были под русским влиянием. Против шведского короля в руках императрицы было могущественное оружие: армия, которую она могла перебросить через границу, и золото, которым она была в состоянии возбудить восстание недовольных не только в стране, но даже и в войске. Датского короля Екатерина Алексеевна приманивала надеждой на возвращение герцогства Голштейнского, которое она, или, вернее, ее сын Павел Петрович наследовал от Петра Федоровича.

Итак, Россия действительно стала могущественнейшею страню Севера. Англия просила Екатерину II о заключении выгодных торговых договоров; Австрию, опасавшуюся возрастания русского могущества, русская государыня успокаивала возможностью скорого раздела несчастной, погибавшей от внутреннего раздора и неурядиц Польши. Оставался еще версальский

двор, где с более или менее скрытым беспокойством наблюдали за все возраставшею силою России.

Екатерина II чувствительно оскорбила гордость Людовика XV, который унаследовал от своих предков единственно только это чувство: она приказала своим посланникам в Европе добиваться первенства пред посланниками французского короля. Вместе с тем зоркий дипломатический взгляд герцога Шуазеля не заметил преобладания русского влияния в Польше, всегда находившейся под влиянием французской дипломатии, которая действовала в этом государстве против России и против Австрии. Этот французский министр обладал всеми данными для того, чтобы быть великим государственным человеком, но его планы почти всегда разрушались благодаря царившим во Франции беспорядкам. Он с большой твердостью и искусством старался вовлечь Россию в войну, надеясь, что русская мощь разобьется во время турецкой войны. Или, по крайней мере, хоть на долгое время будет настолько ослаблена, что будет возможно путем различных дипломатических комбинаций предотвратить грозящую гибель Польши и, усилив это послушное воле Франции королевство, обратить его как бы в клин, который разъединил бы образующийся северный союз. Но и этот умный план не удался; Шуазелю помешало вошедшее чуть ли не в поговорку счастье Екатерины Второй.

В это время русскими была одержана над турецким флотом победа при Чесме, находящейся напротив острова Хиоса. Русский флот находился под командой графа Алексея Григорьевича Орлова, но, в сущности, им командовал перешедший со многими английскими морскими офицерами на русскую службу английский адмирал Эльфинстон. Кроме того через день после этой победы русскому адмиралу удалось сжечь при помощи брандеров весь турецкий флот, собравшийся в маленькой бухточке, после чего в течение некоторого времени турецкий военный флаг не показывался в море.

В это же время русская сухопутная армия, под начальством генерала Румянцева, одерживала победу за победой над турецкими войсками и вследствие этого между русскими и турецкими дипломатами начались переговоры о мире. Однако турки, недовольные требованиями России, продолжали враждебные действия, и Румянцев с таким же успехом продолжал двигаться вперед и разрушил все планы французского министра, желавшего создать помехи деятельности императрицы.

Казалось, что Екатерина II стояла уже на высшей точке своего могущества, и вряд ли кто-либо мог тогда предположить, что с течением времени она достигнет еще больше блеска и власти. Она наградила Алексея Григорьевича Орлова громким титулом «Чесменского» и крупною денежною наградою. Адмирал Эльфинстон и все офицеры тоже получили очень крупные награды от императрицы. Она хотела воспользоваться удачно окончившейся войной для того, чтобы придать еще больше блеска своему прославившемуся во всей Европе царствованию.

Великий князь Павел Петрович, в руках которого должна была сосредоточиться будущность России, был не слишком крепкого здоровья. И императрица, благодаря своей полиции, знала, что во многих местах среди недовольных иногда шепотом произносили имя несчастного царя Иоанна Антоновича, который все еще жил узником в шлиссельбургской крепости и которого Петр III незадолго до свергнувшего его переворота хотел объявить своим наследником. Поэтому императрица хотела, как можно раньше женить сына, чтобы обеспечить престол за прямыми наследниками.

После долгого колебания она остановила свой выбор на трех дочерях ландграфа Гессен-Дармштадского, так как не хотела иметь невесткой принцессу из могущественного дома, которая могла бы быть ее соперницей; жена ее сына должна была быть всем обязана ей и вполне зависеть от нее.

Императрица пригласила в Петербург ландграфиню с ее тремя дочерьми для того, чтобы великий князь мог сделать свой выбор. Несмотря на то, что подобное сватовство было слегка оскорбительно, все же ландграфиня Гессенская поспешила воспользоваться приглашением,

так как надеялась, что одну из ее дочерей будет ждать блестящая будущность. Они приехали в Петербург и были встречены с необычайной торжественностью.

Таково было внешнее и внутреннее положение России, когда однажды, в чудное майское утро, которое бывает особенно хорошо на севере в это время года, в Петербург и его окрестностях царило совершенно исключительное оживление. Между Петербургом и Петергофом, как раз на той дороге, по которой однажды ночью в карете, управляемой Алексеем Орловым, переходя от страха к надежде, ехала Екатерина Алексеевна, в ожидании роковой минуты, решавшей ее судьбу и судьбу ее трона, теперь развертывалась исключительно красивая картина. Здесь был разбит большой военный лагерь. Многочисленные отряды солдат расставались широким полукругом, из Петербурга и Кронштадта то и дело подходили новые полки и занимали свои места на пространстве, предназначенном для парада.

Здесь были различные полки из армии генерала Румянцева, которые особенно отличались во время турецкой войны, но вместе с тем особенно пострадали и были отозваны с войны для того, чтобы отдохнуть и пополнить свои ряды. Другие свежие полки должны были идти на место военных действий для подкрепления армии Румянцева. Императрица повелела, чтобы пред ней появились как побывавшие в сражениях полки, так и те, которые должны были идти на войну. Поэтому-то на место парада стекались и отряды матросов, которые участвовали в сражении при Чесме; они вместе с отличившимися сухопутными войсками должны были пройти церемониальным маршем пред другими полками и тем вдохнуть в них мужество и веру в победу. Кроме того на параде должна была присутствовать и гвардия вместе со стоявшим в Шлиссельбурге Смоленским полком, который явился сюда весь, за исключением одной роты, оставленной для несения охраны в крепости.

Императрица не только хотела показать ландграфине Гессенской во всем блеске свой двор, но главным образом желала, чтобы иностранные дипломаты увидели, что она, несмотря на войну с грозным для всей Европы турецким султаном, все же может устроить около своей столицы такой грандиозный парад, который вряд ли был бы доступен другим европейским государям.

Дорога между лагерем и Петербургом была вся покрыта двигающимися полками; всюду раздавалась военная музыка, в лагерь солдаты еще раз внимательно осматривали амуницию и лошадей и занимали предназначенное для каждого полка место. Вызванные с места военных действий полки отличались от других своим внешним видом; на них были старые полинявшие костюмы, местами заплатанные сукном другого цвета, а местами настолько разорванные, что их невозможно было даже заштопать. Прислоненные к палатке, трепетавшие от дуновения ветра знамена были совершенно изодраны; многие солдаты вместо гренадерских шапок носили простые фуражки, только изредка виднелась коса или вышивка и даже на офицерах были заштопанные мундиры и старые, смятые шляпы. У многих солдат были завязанные головы, покрытые шрамами лица, у многих руки были на перевязи, так что им приходилось совершенно неправильно держать ружье или даже ставить его прикладом на землю.

Несмотря на то, что на параде вид этих войск наверно возмутил бы всякого военного, эти полки очень гордились тем, что императрица приказала им явиться на смотр в том одеянии и с тем оружием, с которым они участвовали в славных битвах против врага родной земли; им было запрещено до этого парада принимать в свой состав какое-либо подкрепление, благодаря этому легко было видеть все количество оставшихся в живых воинов того или другого полка, а это лучше всего свидетельствовало об их доблести и храбрости. Было очевидно, что на их долю выпала тяжелая борьба; здесь были полки, численность которых равнялась лишь одному батальону.

Но, чем больше подходило полков, тем большей гордостью блеснули глаза покрытых ранами и лохмотьями солдат; разорванная, поблекшая форма была для них лучшим, почетнейшим платьем.

Посредине лагеря, занимаемого этими возвратившимися с войны отрядами, была раскинута большая палатка. Около нее стояли на часах два гренадера в меховых шапках, в некотором расстоянии от нее стояли знамена, около них находились на страже офицеры и двадцать гренадер. Они охраняли войсковые святыни, которые были настолько изорваны, что местами вместо полотнищ знамен висели лишь лохмотья. Несмотря на царившее в лагере беспокойное волнение, около палатки было совершенно тихо. Офицеры и солдаты держались в отдалении от нее и, если им приходилось переходить на другую сторону поля, делали большой крюк, лишь бы не пройти мимо палатки. Только несколько адъютантов, тихо разговаривая, стояли на более близком расстоянии от нее; ординарцы держали в поводу их лошадей, а на свободном пространстве между палаткой и знаменем рейткнехт медленно водил дивную рыжую лошадь.

Внутренность палатки, несмотря на некоторую простоту, все же отличалась красотой и элегантностью, совершенно не соответствовавшей условиям походной и лагерной жизни. Пол был устлан толстым и мягким ковром темного цвета. Несколько наложенных друг на друга матрасов образовали диван, на нем была целая масса подушек. На складном деревянном столе, на серебряной дорожной посуде стоял холодный завтрак. Сбоку находился другой стол, на котором было поставлено большое зеркало. Около последнего стояла целая масса всевозможных принадлежностей для туалета. Из раскрытых флаконов струился аромат восточных духов, распространявшийся в солдатской палатке атмосферу дамского будуара. Несколько деревянных скамеек дополняли убранство палатки.

Пред туалетом стоял человек лет тридцати восьми, в русской генеральской форме; он был очень высокого роста, его плечи были слишком широки даже для его роста, а грудь очень высока. Все его тело отличалось стальными мускулами, это была настоящая фигура атлета. Но, несмотря на это, она отличалась исключительной элегантностью. Можно было бы сказать, что в лице этого генерала слились Геркулес с Антиной, давшие ему свои самые лучшие качества.

Несмотря на видимое воздействие солнца, и дурной погоды, цвет его лица был слегка бледен, ноздри его тонкого, слегка горбатого носа трепетали, как у породистой лошади. Его тонкий рот со свежими губами и изумительно белыми зубами имел очень мягкое выражение; под высоким лбом, с красиво изогнутыми бровями, ярко блестели большие голубые глаза. На этом красивом, оригинальном лице, как казалось, отражались все пережитые впечатления; оно отличалось исключительною подвижностью. Иногда лицо генерала выражало почти женскую ласковость и мягкость, иногда же его глаза принимали чисто демоническое выражение, и из уст вылетало горячее, страстное дыхание. Его густые волосы были отброшены назад и завиты по-военному; легкий слой пудры лежал на густых кудрях, которые лишь с трудом подчинялись прическе, предписываемой воинским уставом.

Этот человек, чистя и полируя изящной щеточкой ногти своей слегка загорелой, но изумительно красивой и тонкой руки, внимательно разглядывал свое изображение в зеркале.

Это был генерал-поручик Григорий Александрович Потемкин, командир вернувшихся из турецкой кампании войск. На нем был исключительно роскошный и красивый костюм, который еще больше увеличивал его рост и придавал особенную элегантность его фигуре. Этот костюм был полной противоположностью разорванным и заштопанным платьям его полков. Его красивые, блестящие башмаки с тонкими серебряными шпорами больше подходили для придворного паркета, чем для военного лагеря. В своем костюме Потемкин сохранил лишь одну вещь, соответствовавшую приказу императрицы: он прикрепил сбоку в потертых ножнах широкую саблю с потемневшим от порохового дыма эфесом и надел на голову измятую шляпу с совершенно растрепавшимися перьями и оторванной тесьмой. Вид сабли и шляпы доказывал, что он действительно побывал в пылу сражения, и придавал удивительно молодому, изящному генералу отпечаток воинственности, нисколько не уменьшавшей его элегантности.

— Что-то принесет мне этот день? — сказал Потемкин, вопросительно посмотрев в зеркало, как бы требуя ответа у своего собственного изображения. — Быть может, я сегодня стою

на поворотном пункте своей жизни: или я поднимусь на недостижимую, сияющую высоту, или же буду идти по скучной, томительной, однообразной дороге... Но нет, этого не будет! – воскликнул он и его глаза загорелись, – этого не будет... Об этом говорит мне какой-то внутренний голос, который никогда не замолкал во мне в продолжение всех этих лет, полных обманутых надежд! О, Екатерина! – грустно сказал он. – Я первый увидел над ее головой сияющий царский венец тогда, когда в первый раз увидел ее в Петропавловском соборе молящейся за здоровье императрицы Елизаветы Петровны. Да, уже тогда предо мною ярко горела видимая только для меня корона на голове Екатерины Алексеевны, даже в то время, когда все пренебрегали ею... Я украсил своею португеей шпагу, когда она в первый раз в качестве императрицы появилась пред войсками... И каждый раз, как я видел ее, в моем сердце с новою силою вспыхивала горячая любовь к ней, та любовь, которая заключает для меня целый мир в одном слове «Екатерина»! Я был не в состоянии побороть эту любовь и не хочу победить ее. Нет! Нет! – воскликнул Потемкин, протягивая руку к своему изображению, – нет, я не хочу подавлять эту любовь, она должна привести меня к счастью, поднять меня на сияющую высоту; если же этого не будет, то мне лучше погибнуть! Она меня любила, – мрачно сказал он, – да, да! Я это знаю... это подсказало мне сердце... Но зачем тогда стал на моей дороге этот Орлов? Разве я не жертвовал для нее своею жизнью так же, как он? Разве я так же, как и он, не имел силы возвести ее на трон, я, который первый поверил в нее, первый полюбил ее!.. Это был каприз счастья... Я должен был потерять в этой игре, Орлов меня обыграл. Да это вполне понятно: он был страшен ей; ведь он мог тогда уничтожить все то, что создал своими же руками... Я должен был покориться в то время, когда уже почти достиг дорогой награды! Шли годы, но ни один из них не приносил мне ни одного намека на то, что Екатерина помнит меня... Я должен был играть скучную роль при нашем посольстве в Стокгольме; должен был рисковать своею жизнью на войне с турками, надеясь на то, что она меня вспомнит. Но все оказалось напрасным... Забыла ли она меня?.. Но нет! Неужели она могла забыть меня, в то время как я постоянно думал только о ней? Нет, нет, этого не могло быть! Просто Екатерина не рисковала дать волю своим воспоминаниям. Она все еще боялась этого Орлова... О, как ужасно думать о том, что женщина, которую я горячо любил, когда она была бедна и не имела власти, и которую я еще сильнее люблю теперь, когда она стала царицей, – склоняется и трепещет пред волей Орлова!.. Но ведь он был полезен ей только своею силою и мужеством, которые ей были нужны во время переворота, теперь же он не может быть полезен ей в государственном управлении, так как не в состоянии понять и оценить ее гордые замыслы и ее ум. Я же сумею сделать это... Я буду понимать Екатерину, я буду приводить в исполнение ее мысли, бесстрашно выполнять ее проекты! Так должно быть и это будет так!.. Моя судьба записана на звездах... Судьба привела меня сюда и моя вина будет, если я не поверну ее как следует, сообразно книге звезд, в которую я верю. Орлов забыл меня, или же он чересчур уверен в своем могуществе и больше не боится меня, иначе он не допустил бы того, чтобы я привел сюда эти полки. Но, клянусь Ботом, он обманулся; он будет поражен, несмотря на всю свою уверенность и спокойствие... Он вынудил благодарность Екатерины, но теперь он уже более не необходим... Я вступлю с ним в борьбу, и увидим, настолько ли хорошо мой взор читает и понимает мою судьбу, написанную в книге звезд, насколько ясно он раньше видел царскую корону на голове великой княгини Екатерины Алексеевны!

Он еще раз посмотрел на свое изображение в зеркале и гордая радость вспыхнула в его глазах, когда он увидел свою высокую, сильную и вместе с тем изящную фигуру и свое мужественно-прекрасное, полное отваги, лицо. Он натянул перчатки, нахлобучил на лоб измятую шляпу и, откинув занавеси, заменявшие дверь, вышел из палатки. К нему сейчас же подошел адъютант, рейткнехт подвел рыжего скакуна. Потемкин легко вскочил в седло и сказал:

– Следуйте за мной, господа!.. Я хочу еще раз посмотреть на наших солдат! Сегодняшний смотр не доставит нам чересчур много хлопот; раны и лохмотья наших геройских полков

будут говорить сами за себя, и я уверен, что они будут императрице дороже всех остальных блестящих отрядов.

Офицеры вскочили на коней и последовали за ехавшим впереди генералом. Он был встречен радостными криками солдат, которые, несмотря на его строгость, любили Потемкина за то, что он делил с ними все трудности и тревоги военной жизни и был всегда первым там, где было всего опаснее. Они очень ценили его и за то, что он проявлял свое высокомерие и свою гордость только по отношению к высшим, а к низшим был всегда справедлив и добр, если только они исполняли свои обязанности.

Потемкин нашел большинство своих полков уже готовыми к выступлению на место парада. Полные гордости и радости, солдаты старались устроить так, чтобы поврежденные части их одежды были как можно более заметны.

На самом крайнем крыле своего лагеря Потемкин подъехал к казачьему полку, который он привел с собою из Турции. Эти казаки участвовали в осаде Бендер. Теперь почти все они уже были на конях и отмечали линию постановки войск на месте парада.

Потемкин ласково ответил на их крик: «Здравия желаем, батюшка!», которым казаки приветствовали его, и уже намеревался ехать обратно к своей палатке, как вдруг на некотором расстоянии от других он увидел казака, который воткнул пред собою в землю пику, обнял рукою шею лошади и весь, по-видимому, ушел в мечты.

Потемкин нахмурился; он подъехал к казаку и воскликнул:

– Что ты тут делаешь, лентяй! Разве ты не знаешь, что каждую минуту сюда может прийти наша возлюбленная матушка-царица для того, чтобы поздороваться со своими храбрыми солдатами, лучшими сынами святой Руси? А ты тут стоишь, как будто у тебя нет другого дела, как только считать песчинки под своими ногами! Ничего нет хуже солдата, который ленится, когда нужно спешить встречать свою государыню-императрицу!

Во время речи генерала казак вытянулся в струнку, схватил копьё и, взяв лошадь за повод, казалось, был готов выполнить военное поручение.

Это был человек среднего роста; на вид ему казалось лет сорок пять или сорок шесть; у него были короткие усы; его продолговатое лицо с длинным носом и большими синими глазами имело меланхолическое выражение, присущее обыкновенно жителям степи. Он, смотрел на генерала частью просительно, а частью с упреком, его взор был печален.

– Ах, это – ты, Емельян Пугачев? – ласковым голосом сказал Потемкин, всмотревшись в лицо казака. – Зачем ты стоишь так далеко ото всех именно сегодня, когда ты имеешь право одним из первых выслушать благодарность из уст императрицы? Ведь ты всегда был первым в битвах с врагом.

– Прости, батюшка Григорий Александрович! – ответил казак, – я так же, как и другие, счастлив, что увижу государыню-царицу; но я грустен потому, что у меня на сердце есть горячее желание.

– Ну, – дружески сказал Потемкин, – ты всегда был молодцом, Емельян Пугачев; скажи же, что ты хочешь... ты ведь знаешь, что твой генерал всегда с удовольствием исполняет все просьбы своих храбрых солдат!

– О, батюшка! – воскликнул Пугачев, забывая свою военную выправку и протягивая к Потемкину руки, – я жажду воли, дозвожь мне вернуться обратно на родину!.. Я много лет служил верой и правдой; я еще при нашей всемилостивейшей государыне Елизавете Петровне ходил в Пруссии, тогда, когда фельдмаршал Апраксин командовал армией. Я ни разу не был наказан на службе и всегда храбро сражался на поле битвы. Я почти совсем забыл свою родину, лежащую на славном, тихом Доне-батюшке, но, когда мы шли на турок, я увидел снова эту реку, родные поля и пастбища, на которых протекало мое детство, когда я только что учился садиться на коня... Родители мои уже умерли... у меня не было ни братьев, ни сестер, друзья мне стали чужими, но все же сердце горячо забилося в моей груди, когда я увидел свою родину. А раньше

на Яике я увидел девушку. О, она была на много лет моложе меня и ласково-ласково смотрела на меня; она предпочла закаленного в боях солдата молодым паробкам, которые только в игре употребляли оружие... Я должен был уходить с моим полком, сердце разрывалось в моей груди, но я исполнил свой долг и храбро бился в первых рядах против басурман... Но, с тех пор как я снова увидел родную реку, с тех пор как я смотрел в чудные очи моей Ксении Матвеевны, целовал ее алые уста, я хочу на волю, я рвусь на родину. Я кое-что накопил себе во время моей службы; это – чуть ли не настоящее богатство для моей страны, где так мало денег, я куплю коня и буду вести счастливую, тихую жизнь рядом с моей Ксенией, которой я буду рассказывать о битвах с пруссаками и турками. У меня будут дети, которые сделаются храбрыми казаками и станут так же, как и я, грудью защищать честь и славу святой Руси.

– Остановись! – воскликнул Потемкин, громко смеясь, – что за глупые мысли для старого казака, который уже в течение стольких лет имел честь служить в рядах армии и которого, быть может, ожидает более почетная будущность, чем тихая жизнь в степях, около бабы, которая на много моложе тебя, а потому будет обманывать тебя. Ты состоишь в списке храбрецов, которых я хочу представить к награждению, и если ты и впредь будешь себя так вести, то ты сможешь сделаться даже офицером; уже многие возвысились, таким образом, для этого нужно только иметь ум и беззаветную храбрость. Выбрось из головы все глупости! В России достаточно красивых баб, которые будут смотреть на тебя так же ласково, как твоя Ксения, и так же горячо целовать тебя, как и она. Я не отпущу тебя... Что будет с армией, если все ее храбрые солдаты побегут на родину, чтобы наслаждаться тихим счастьем около жены и детей!

С петербургской дороги послышался пушечный выстрел.

– Слышишь? – воскликнул Потемкин, причем его глаза загорелись ярким пламенем, – это – знак приближения государыни! Прочь глупые мысли, которые совершенно не годятся для храброго солдата, и марш на свое место в ряды полка!.. Сегодняшний день – счастливый день, и если для меня сегодня засияет солнце, то я и тебя не забуду!

Генерал круто повернул лошадь и поехал к своей палатке, чтобы отдать последние приказания относительно размещения своих полков.

Емельян Пугачев побледнел как смерть во время речи Потемкина; он со скрежетом сжал зубы, его лицо передернулось от внутренней боли, и он с ненавистью посмотрел вслед уезжавшему генералу. Затем он вскочил в седло, схватил пику и поехал к товарищам, чтобы среди их рядов занять место на предназначенной для парада площадке.

Весь лагерь пришел в движение после пушечного выстрела, прервавшего разговор Потемкина с Пугачевым. Гвардейские полки вытянулись длинной линией и по всем флангам окружили место парада, оставив лишь сравнительно небольшой проезд. Остальные полки заняли пространство посредине и стояли рядом один с другим: матросы и солдаты на левом крыле, а полк Потемкина с правой стороны.

Знамена были отнесены на места; офицеры отправились к своим частям; на широкой площадке не было слышно ничего, кроме легкого позвякивания оружия и ржания лошадей. По сторонам толпился народ, количество которого с каждой минутой возрастало благодаря тому, что на место парада то и дело прибывали новые партии любопытных, стремившихся полюбоваться редким зрелищем.

Глава 2

С петербургской дороги послышался новый пушечный выстрел и вскоре вдали показалось облако пыли, которое казалось совсем золотистым при освещении утреннего солнца; оно быстро приближалось к месту смотра. Раздались громкие клики, и толпа народа бросилась к дороге.

Потемкин стоял на правом крыле своих войск. Его сверкающий взгляд был обращен на быстро мчавшееся облако пыли, среди которого он уже мог различить цветные блестящие костюмы; его губы были плотно сжаты, рука, державшая повод, задрожала.

Пред полками прозвучали последние слова команды. Ряды солдат стояли так неподвижно, как будто они были вылиты из стали.

Вдоль длинных рядов гвардии разъезжал лишь один всадник в форме полного генерала; это был военный министр граф Захарий Чернышев, за ним следовало несколько адъютантов. Граф был высокий, слегка худощавый человек; у него было продолговатое лицо с резкими чертами. Его умные, проницательные глаза светились хитростью, а на тонких устах змеилась неизменная мягкая улыбка старого придворного.

Граф Чернышев объехал площадь, стал посредине ее против проезда и вынул шпагу. Радостные крики народа раздались, наконец, совсем близко от войск: отряд кавалергардов в красных мундирах промчался сплоченным строем по площадке и, развернувшись, выстроился по обеим сторонам графа Чернышева. В следующий момент последний поднял шпагу, и почти полная до тех пор тишина была внезапно нарушена страшнейшим шумом, испугавшим некоторых лошадей, которые поднялись на дыбы, бросились в сторону и только с большим трудом были усмирены своими всадниками и снова возвращены в ряды. Все полки обнажили свое оружие, когда граф Чернышев поднял свою шпагу; все хоры музыки заиграли оглушительную «встречу» и все это покрыли сильные голоса нескольких тысяч солдат, слившиеся в один и тот же крик.

– Да здравствует государыня Екатерина Алексеевна, да здравствует наша возлюбленная матушка царица!

В это время на площадь парада выехала императрица; она сидела на великолепном, белоснежном турецком скакуне, грива которого развевалась по ветру, а уздечка и чепрак были богато украшены сверкавшими на солнце драгоценными камнями.

Екатерине II в это время было сорок четыре года. Безусловно, годы не прошли бесследно над ее головой, но, тем не менее, ее тонкое, благородное лицо еще не утратило нежных и мягких очертаний молодости. Ее большие глаза горели живым огнем, в них отражалась глубокая умственная жизнь. Она не употребляла никаких косметик, которые придавали лицу пользовавшейся ими императрицы Елизаветы Петровны неподвижное, точно окаменелое выражение. Обыкновенно Екатерина Алексеевна была несколько бледна, но именно поэтому она и казалась моложе своих лет, так как не хотела искусственным путем скрывать свой возраст; в этот день, благодаря быстрой езде, ее щеки покрылись ярким естественным румянцем.

На императрице была длинная амазонка из белой шелковой материи, а сверху – платье военного покроя из темно-зеленого бархата, с красными отворотами и опушкой из горноста. Ее грудь была украшена широкой голубой лентой и звездой Андрея Первозванного; маленькая шляпа с белым пером покрывала ее голову; густые темно-русые волосы императрицы падали локонами на плечи. Ее фигура была уже не так тонка и гибка, как раньше, когда она еще была великой княгиней и удивляла всех своей воздушностью и грацией; легкое ожирение, против которого государыня безуспешно боролась, сделало ее небольшую фигуру слегка тяжеловесной. Она держалась замечательно прямо, ее голова была высоко поднята, а длинная, развевающаяся по ветру амазонка увеличивала ее рост. Костюм Екатерины II был очень прост, только

убранство лошади отличалось чисто царской роскошью. Кроме бриллиантов в звезде святого Андрея Первозванного, на императрице не было никаких драгоценностей; лишь на рукоятке ее хлыстика, которым она приветливо махнула, чтобы ответить на приветствие войск, был вставлен великолепный, блестящий необычайно крупный смарагд.

Екатерина Алексеевна выехала совершенно одна в образованный войсками полукруг; сзади в нескольких шагах от нее следовал ее сын, великий князь Павел Петрович. Этот двадцатилетний хрупкого сложения юноша, в простой темно-зеленой, отделанной красным и золотом, форме Павловского гренадерского полка, легко и элегантно сидел на красивой английской лошади. Но его манера держаться была несколько не уверена, как это часто бывает у чересчур быстро растущих молодых людей, у которых внутреннее развитие не совершается равномерно с ростом. На его юношески мягком лице лежала грустная тень, какую иногда можно заметить на лицах людей, которых ожидает тяжелая, трагическая судьба. У великого князя были небольшой, вздернутый кверху нос, выдающиеся скулы и слегка скошенный назад лоб; его волосы были причесаны строго по форме; на нем точно так же, как и на императрице, были голубая лента и звезда святого Андрея Первозванного, а на шее, на красной ленте, с золотыми полосками по бокам, висел сверкавший бриллиантами крест голштейнского ордена святой Анны, гроссмейстером которого он был, как герцог Голштейнский.

Рядом с ним на огневом скакуне ехала принцесса Гессен-Дармштадская Вильгельмина, отличавшаяся от своих обеих сестер живым умом и мужеством. Она не обладала правильной красотой, но ее тонкое, юное личико с большими блестящими глазами было удивительно прелестно и оригинально и это впечатление еще усиливалось, благодаря ее тонкой, изящной фигуре и грациозным, живым движениям.

Принцесса испросила у императрицы позволение ехать на парад тоже верхом. Ей замечательно шли темная амазонка и маленькая шляпа с пером, а ее крошечная рука в светло-серой перчатке смело и уверенно управляла горячим конем.

Великий князь, с самого раннего детства питавшей особенную склонность ко всему военному, казалось, был в восторге от намерения принцессы; его взгляды с явным восхищением окидывали прелестную фигурку юной наездницы.

С правой стороны принцессы на могучем вороном коне ехал генерал-фельдмаршал Григорий Григорьевич Орлов, всесильный любимец императрицы, который, благодаря своей исключительной энергии и холодному мужеству, организовал заговор и путем переворота возвел на престол Екатерину Алексеевну. Его атлетическая фигура стала очень полной и тяжелой, а его чисто-славянское лицо, сиявшее раньше мужественной красотой, весьма много потеряло в своем внешнем виде, ставший бледным и поблекшим вследствие всевозможных излишеств, которым он предавался. Во всей фигуре Орлова чувствовались глубочайшая усталость, равнодушие и вместе с тем полнейшее высокомерие и непоколебимая уверенность в своем могуществе и силах. Несмотря на это равнодушие и спокойную самоуверенность, он все время следил за императрицей сверкающим взглядом своих небольших, глубоко лежавших глаз, как бы не желая пропустить ни одного ее движения и в то же самое время стремясь подчинить государыню гипнотизирующему влиянию своего взора. На нем был богато расшитый мундир, соответствовавший его высокому рангу, но он не так пунктуально выполнял требования формы, как это любил делать великий князь Павел Петрович; его густые волосы были слегка напудрены и падали свободными, слегка подвитыми локонами на короткую могучую шею; его мундир был украшен горностаевым воротником в знак того, что император Иосиф пожаловал его в князья Священно-Римской империи. На нем были надеты голубая лента и звезда святого Андрея Первозванного и кроме того на его груди сверкал осыпанный бриллиантами портрет императрицы, бриллианты и рубины горели на рукоятке его шпаги и на его шляпе, украшенной длинным султаном. Орлов небрежно сидел на своем гигантском коне и даже не давал себе труда удерживать горячее животное, когда оно обгоняло великого князя

и принцессу так, что иногда он ехал непосредственно за самой императрицей пред великим князем и его спутницей.

В нескольких шагах позади великого князя ехал его адъютант граф Андрей Кириллович Разумовский, сын малороссийского гетмана, в значительной степени помогшего императрице при ее восшествии на престол и затем из-за придворных интриг уехавшего в свои имения в Малороссии. Молодому графу Андрею Кирилловичу было двадцать лет, он, как и великий князь, носил форму Павловского гренадерского полка, и эта простая форма еще более выдвигала изящество его стройной фигуры и изумительную красоту его благородного, женственно нежного лица с большими темными, то задумчиво, мечтательно смотревшими, то горевшими огнем глазами. И этот простой мундир красил молодого человека больше всякого блестящего придворного платья.

Граф Андрей Кириллович, казалось, разделял восхищение, вызываемое в великом князе принцессой Вильгельминой, его глаза с такой же неотступностью следили за ней, как и взоры великого князя. Внезапно лошадь принцессы бросилась в сторону и ее взгляд упал на молодого адъютанта, внимательный наблюдатель наверно заметил бы, что молодой человек при этом невольно потупил свой взор, и что его щеки вспыхнули ярким румянцем.

Принцесса едва ли заметила все это; движение лошади позволившее ей взглянуть на графа, длилось лишь одну секунду да кроме того она в это время слушала великого князя, который с воодушевлением называл ей участвовавшие в смотре полка и рассказывал их истории.

За великим князем и принцессой следовала многочисленная свита императрицы; все молодые придворные дамы ехали верхом на лошадях; во главе их была тридцатилетняя княгиня Дашкова, на груди которой была надета широкая лента ордена святой Екатерины. Среди придворных кавалеров выделялся граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский; у него была еще более могучая и несколько дикая фигура, чем у его брата Григория; на его груди, как и на груди последнего, сверкали высшие ордена, осыпанные драгоценными камнями. За ним следовали многочисленные придворные частью в роскошных мундирах, частью в придворных платьях. На всех их так и сверкало золотое шитье, и горели драгоценные камни; на шляпах развевались длинные перья. За этой свитой императрицы следовал отряд grenадер, конвоировавший запряженную шестью лошадьми золоченую карету, в которой сидела ландграфиня Гессен-Дармштадская с остальными двумя дочерьми.

В карете против ландграфини сидел заведующей иностранными делами и в то же время воспитатель великого князя, граф Никита Иванович Панин, которому в это время было пятьдесят пять лет. Благодаря своему румянцу, юношески свежему лицу, он казался, по крайней мере, лет на десять моложе, только его фигура отличалась излишней полнотой, что делало ее тяжеловесной и несколько неуклюжей. На губах Панина была приветливая улыбка придворного человека, глаза смотрели пытливо и проницательно, как у дипломата, а по всему лицу было разлитое спокойствие ученого. В манере держаться и во всем костюме графа Панина чувствовалась крайняя педантичность; на нем было, пожалуй, чересчур роскошное для его возраста платье из светло-голубой шелковой материи. Его напудренные волосы, вопреки моде, падали на спину двумя густыми косами; это была его особенность, которою он очень гордился и которая возбуждала насмешки всего двора. Он держал в руках свою шляпу и неутомимо развлекал сидевших с ним в карете дам, но не был в состоянии всецело приковать к себе их внимание, так как взоры ландграфини и ее дочерей с любопытством следили за всем происшедшим вокруг; они с удивлением смотрели на блестящую картину, так как при своем крошечном дворе не имели никакого понятия о подобной роскоши. Обе молодые принцессы смотрели на свиту императрицы и старались отыскать среди нее великого князя, который должен был выбрать одну из них себе в жены и дать ей будущность, полную блеска и царского величия.

У подножек кареты ландграфини ехали шталмейстеры, за нею следовало еще несколько экипажей с прикомандированными к ландграфине придворными дамами; группа ехавших верхом пажей замыкала весь поезд. На пажах были несколько фантастичные, но очень красивые красные, отделанные мехом костюмы, сверху которых были наброшены плащи из золотой парчи, на головах их были четырехугольные шляпы.

Императрица в течение нескольких мгновений стояла неподвижно посередине полукруга; великий князь и принцесса Вильгельмина остановились в нескольких шагах позади нее. Свита и все остальные сгруппировались сзади. Экипаж ландграфини тоже въехал на середину площадки.

Екатерина Алексеевна взглянула на развернувшуюся пред ней картину, на сомкнутые ряды солдат, стоявших с обнаженным оружием, на склоненные к земле знамена и еще выше подняла свою голову, еще больше засверкали ее глаза при виде этой мощи и блеска, при виде этой громадной силы, готовой повиноваться ее малейшему желанию. Затем она с замечательной ловкостью заставила лошадь сделать большой скачек и помчалась галопом через поле к тому месту, где стояли матросы. Все они имели на левой стороне груди медаль, выбитую в память победы над турками; на одной стороне медали стояло лишь одно слово «Чесма», а на другой была надпись: «Я был там».

Императрица направила свою лошадь вдоль фронта и сказала своим чистым, далеко слышным голосом:

– Здравствуйте, чесменские герои!

Солдаты громко и радостно ответили ей:

– Да здравствует наша матушка императрица Екатерина Алексеевна!

Не успел еще замолкнуть этот крик, как он снова повторился, но еще радостнее и громче, чем раньше. Однако на этот раз матросы приветствовали не императрицу, а великого князя, который последовал за своею быстро ехавшею впереди матерью и нагнал ее. Его лошадь сделала скачек вперед, и он очутился рядом с императрицею. Едва моряки увидели его, как из их уст вырвался громовый крик:

– Да здравствует наш цесаревич, великий князь Павел Петрович, внук наших великих государей!

Екатерина Алексеевна побледнела; ее губы задрожали; глаза грозно вспыхнули.

Великий князь тоже испугался и старался удержать свою лошадь, но уже в следующее мгновение лицо императрицы озарилось приветливой улыбкой и сделалось совершенно спокойным. Она, как бы соглашаясь, склонила голову и как бы в невольном порыве материнской любви и гордости обернулась к своему сыну и протянула ему руку, которую тот смущенно поднес к своим губам.

При виде этого радость охватила всех солдат.

– Да здравствует государыня императрица!.. Да здравствует государь цесаревич! – кричали войска, и этот крик разносился по всему полю.

Когда крики затихли, Екатерина Алексеевна знаком подозвала к себе адмирала Алексея Григорьевича Орлова.

– Здесь, перед вернувшимися после побед храбрецами, я говорю тебе, граф Алексей Григорьевич Чесменский, мое спасибо. Никогда не исчезнуть из моей памяти геройские подвиги добрых сынов святой Руси. Твоя императрица протягивает в твоём лице руку всем мужественным героям-воинам нашей святой матушки России.

Алексей Орлов подъехал к императрице, причем совершенно неуважительно стал пред великим князем. Екатерина Алексеевна протянула ему руку и он, низко наклонившись, поднес ее к своим губам. Но на этот раз из рядов солдат не раздалось никакого крика, моряки совершенно равнодушно приняли благодарность, которую императрица передавала им всем через их адмирала. От проницательного взгляда Екатерины Алексеевны не укрылось, что при

этом на многих загорелых и обветренных лицах старых матросов появились глубокие мрачные складки. Императрица сделала вид, что не заметила этого, и сказала все тем же спокойным, чистым голосом:

– Я привыкла, Алексей Григорьевич, благодарить тебя и твоих солдат, и соединять их имена с каждым великим и славным деянием моего царствования.

Глаза Григория Григорьевича Орлова гордо засверкали; он в это время стоял сзади императрицы, выдвинувшись вперед из рядов свиты, и внимательно смотрел на лица придворных, как бы желая прочесть их мысли. Но на них выражались только полная солидарность со словами императрицы и почтительное восхищение перед так исключительно превознесенными братьями.

С коротким поклоном Екатерина Алексеевна повернула свою лошадь, окинула взглядом площадь, для того чтобы познакомиться с расположением войск, и направилась в ту сторону, где стояли вернувшиеся из Турции полки.

На этот раз Григорий Орлов не остался позади. Он поехал почти рядом с императрицей, впереди великого князя, как бы желая показать всем все свое могущество и расположение императрицы, которое окружало ореолом его голову. Государыня направилась к правому крылу войск, где стоял со своим штабом генерал Потемкин.

Как только Екатерина Алексеевна остановила свою лошадь, Потемкин подъехал к ней и, салютуя своей обнаженной саблей, сказал.

– Наша все милостивейшая государыня приказала нам явиться сюда в том же виде, в каком мы сражались с врагами нашей родины... С гордостью показывают мои солдаты матушке-императрице свои раны и свои разорванные одежды... Те герои, которых недостает среди наших рядов, имели честь положить свою жизнь для блага святой Руси... Души павших, я уверен, окружают нас и теперь, когда мы вернулись на родину и готовы повторить тот клич, с которым мы шли в битву, наводя ужас на своих врагов: «Да здравствует Екатерина Алексеевна!.. Да здравствует наша матушка государыня Екатерина Алексеевна!»

Радостно вырвался этот крик из сотен солдатских грудей. Закаленные воины с гордостью смотрели на свои лохмотья и изодранный знамена, который склонились пред императрицей.

Потемкин во время этой речи смотрел на государыню странным, горячим, сверкающим взглядом, его голос звучал удивительно мягко и в нем слышались и радостное восхищение, и трогательная, страстная мольба.

Узнав генерала, Екатерина Алексеевна побледнела. Потемкин стал еще красивее, мужественнее и властнее, чем был раньше; его огненные глаза и металлический голос, казалось, совсем покоряли и околдовывали императрицу. Ее грудь колебалась, а задумчивый, мечтательный взгляд был не в силах оторваться от лица Потемкина, которое, казалось, пробудило в ней какие-то дорогие воспоминания.

Григорий Орлов тоже узнал генерала. Он закусил губу и вздрогнул всем телом. Но в следующее же мгновение он еще высокомернее выпрямился и с презрительной, насмешливой улыбкой посмотрел на дерзновенного, который некогда осмелился мечтать о недостижимом счастье и которого он победил и настолько унизил, что даже сам совершенно позабыл о нем.

Несколько мгновений Екатерина Алексеевна молчала, глядя в глаза Потемкина; казалось, что она не находила слов, чтобы поблагодарить войска за приветствие... Женщина, казалось, взяла верх над государыней и она кротко и смущенно склонила голову пред генералом, который своей мужественною красотой и силой возбудил в ее сердце воспоминание о недавно прошедших мечтах.

– Привет вам, мои храбрые воины! – сказала она затем, силою воли побеждая свое волнение, – я хотела видеть вас такими, как вы бились с турками... Ваши знамена будут всегда занимать почетное место среди других знамен, а ваши одежды должны остаться вам и вашим детям как память о ваших геройских подвигах. Завтра вам выдадут новую экипировку, сегодня

же будьте моими гостями и выпейте за здоровье своей благодарной вам императрицы. Помните также и павших за родину товарищей!

Она проговорила это горячо и быстро и, в то время как солдаты выражали ей криком свою благодарность, она снова обернулась к Потемкину, который все время не спускал с нее своего горящего взора.

– Я особенно рада тому, – сказала государыня, – что это именно вы, генерал, привели на родину эти храбрые полки. Я вас не забыла, я знала, что вы были предназначены к тому, чтобы сослужить мне и государству великую службу Мои ожидания оправдались... Вы сражались на поле битвы и заслужили громкую славу; теперь вы будете служить здесь на родине! Я назначаю вас, Григорий Александрович, своим генерал-адъютантом, – продолжала она громким голосом и с ударением.

Из уст Потемкина вырвался радостный крик. Он подъехал близко к императрице и схватил ее руку, не дожидаясь, чтобы она последнюю протянула ему, затем быстро отогнул манжету ее перчатки и долгим и горячим поцелуем прижался к ее нежной руке. Тотчас же волна горячей крови залила лицо Екатерины Алексеевны.

Григорий Григорьевич Орлов побледнел, услышав слова императрицы... Его глаза вспыхнули яростью и гневом; он вздрогнул так сильно, что его лошадь взвилась на дыбы; затем с тихим угрожающим криком он схватил руку императрицы, как бы желая оттолкнуть ее от Потемкина.

Екатерина Алексеевна повернула лошадь; ее глаза тоже сверкали гневом, но спокойно, с выражением царственного величия, она холодно сказала:

– Вы слышали мой приказ, князь Григорий Григорьевич. Примите меры к тому, чтобы генерал Потемкин был сейчас же внесен в списки моих генерал-адъютантов, сообразно его заслугам! А вы, Григорий Александрович, представьтесь великому князю, который будет рад протянуть руку храброму и верному слуге своей матери!

Орлов заскрежетал зубами.

Потемкин чисто по-военному приподнял пред Орловым свою шляпу. На мгновение взгляды обоих мужчин скрестились, как клинки шпаг, владельцы которых трепещут желанием поразить смертельным ударом сердце противника.

Орлов только слегка кивнул головой, Потемкин же повернулся к великому князю и, сняв шляпу, низко поклонился ему, почти касаясь спины своей лошади.

Павел Петрович удивленно и вопросительно посмотрел на него, как бы желая составить себе представление об этом новом лице, которого он совершенно не помнил, затем, исполняя приказание матери, он протянул руку Потемкину, который, еще раз склонившись пред великим князем, почтительно прикоснулся к ней.

– Следуйте за мной, Григорий Александрович! – сказала императрица, направляя свою лошадь вдоль линии войск. – Вы теперь несете службу лично при мне!

Григорий Григорьевич Орлов не покинул своего места рядом с императрицей, Потемкин же следовал на некотором расстоянии за великим князем. Но, несмотря на это, в глазах молодого генерала сверкала уверенность в полной победе, между тем как Орлов был мрачен и тяжело дышал.

С приветливой улыбкой здоровалась императрица с отдельными отрядами геройских полков, которые провожали ее громкими криками, радуясь тому, что они так щедро награждены в лице своего генерала.

Императрица, наконец, подъехала к казачьему полку; она приветствовала движением руки солдат, но даже не взглянула на воинственные фигуры героев... Казалось, она вся ушла в свои собственные мысли.

Но Григорий Григорьевич Орлов вдруг вздрогнул, как бы охваченный безумным страхом; он побледнел как мертвец, быстрым движением отдернул лошадь и широко раскрытыми глазами смотрел на то место, где стоял в страхе Емельян Пугачев.

– Что это такое? – тихо прошептал он, глядя на казака. – Разве мертвые воскресают?

Он приостановился и посмотрел на своего брата Алексея. Последний тоже был бледен как смерть и быстро подъехал к нему.

– Видел ты казака? – спросил Григорий Григорьевич.

– Да, – ответил Алексей Григорьевич дрожащим голосом. – Какая удивительная игра природы! Я поклялся бы, что пред нами Петр Федорович, если бы только я не знал, что он умер и не может воскреснуть! – сказал он содрогаясь.

– Разунай, кто это такой! – распорядился Григорий Григорьевич. – Мы должны знать это. Человек с таким лицом опасен... Или, быть может, полезен, – сказал он совсем тихо, и холодная улыбка заиграла на его губах.

Он увидел, как императрица подозвала к себе Потемкина и стала громко расспрашивать его о подвигах казаков во время турецкой войны.

– И этот дерзкий воображает, что ему принадлежит будущее, так как я был слишком великодушен и не уничтожил его прежде? – прошептал Григорий Григорьевич Орлов. – Но нет, счастливая случайность дает мне в руки средство доказать неблагодарной, что ее трон может пошатнуться и пасть, если его не будет поддерживать рука Орлова.

Он снова подъехал к императрице, которая в это время уже достигла конца вернувшихся из Турции войск. Потемкин отдал честь и снова поехал позади великого князя. Многие из свиты подъезжали к нему и здоровались с ним с видом старых знакомых, хотя он не мог припомнить, видел ли он их, когда-либо раньше.

Яркий луч царской милости создал целую массу друзей генералу, который в течение долгого времени жил вдали от двора. Все несколько сдерживалась, боясь гнева Григория Орлова, но все же старались быть внимательными к так внезапно выдвинувшемуся новому любимцу, хотя делали это так, чтобы не вызвать неудовольствия Орлова, на блестящую звезду которого сегодня легла первая легкая тень.

Екатерина Алексеевна медленно ехала вдоль фронта солдат.

Великий князь в это время оживленно разговаривал с принцессой Вильгельминой, остроумие которой заставляло весело смеяться в большинстве случаев серьезного и склонного к меланхолии Павла Петровича. Он во время разговора часто обращался к графу Разумовскому, который, наконец, поехал рядом с ним и принял участие в веселой болтовне, раздававшейся совершенно близко от задумчиво и молчаливо ехавшей впереди императрицы.

Рядом с Преображенским полком стоял Смоленский полк, пришедший на парад из Шлиссельбурга. Первым взводом этого полка, радостно приветствовавшего императрицу, командовал молодой подпоручик. У него была стройная и вместе с тем сильная фигура; его бледное лицо с мягкими юношескими чертами отличалось красотой и вместе с тем поражало своим бесконечно грустным выражением, тогда как в больших глазах юного офицера сверкали отвага и мужество. В то время как императрица подъезжала к его полку, Мирович надел на кончик своей шпаги какую-то бумагу и, салютуя Екатерине Алексеевне, опустил оружие, но затем снова так высоко поднял его, что всем была видна надетая на шпагу бумага.

Государыня удивленно остановила лошадь и спросила:

– Что это значить? Что ты хочешь? Возьми у него бумагу, Григорий Григорьевич!

Орлов подъехал к самому фронту и снял бумагу со шпаги офицера.

– Кто ты такой? – спросила императрица с удивлением и интересом, глядя в оригинальное, оживленное внутренним волнением лицо молодого офицера.

– Я – подпоручик Смоленского полка Василий Мирович, ваше императорское величество, – ответил он.

– Это я вижу, – сказала императрица с легким нетерпением, в то время как Орлов просматривал бумагу. – Что это за письмо?

– Просьба о помиловании, ваше императорское величество! – ответил офицер, пристально и скорее угрожающе, чем умоляюще, глядя на императрицу своими темными глазами.

– О каком помиловании можешь ты просить, если носишь форму и командуешь моими храбрыми солдатами Смоленского полка? – сказала Екатерина Алексеевна.

– Несмотря на это, ваше императорское величество, – ответил Мирович, – я прошу о помиловании, но не за самого себя; я прошу простить вину моего предка, который был полковником в Украине и обладал огромными имениями...

Но тут его прервал Орлов, который уже прочел бумагу и гневно смотрел на молодого человека.

– Этот предок, – сказал Григорий Григорьевич, – был изменником вместе с Мазепой, перешедшим на сторону шведского короля и поднявшим оружие против императора Петра Великого!

– Он погиб в битве, ваше императорское величество, – сказал Мирович, – и смертью искупил свою вину, но все его имения были конфискованы и его дети остались нищими... Но ведь ни его дети, ни его внуки не были виноваты в его преступлении. Я, ваше императорское величество, все время борюсь с бедностью, которая мешает мне жить, а между тем я чувствую в себе силу своей службой вам, ваше императорское величество, загладить преступление своего предка и молю свою великую государыню снова возвести меня на ту высоту, с которой нас свергнул мой предок... Вся моя жизнь будет принадлежать вам, ваше императорское величество, если только вы окажете мне милость, которая будет совершенно справедлива и угодна самому Богу. Уверенный тон молодого человека, казалось, уязвил императрицу, и она холодно сказала:

– Справедливость требовала наказания изменника; полною несправедливостью по отношению ко всем верным подданным было бы награждение его потомка, который хотя и не несет на себе никакой вины, но, тем не менее, и не обладает никакими заслугами. Богатство и слава находятся на конце шпаги моих офицеров; быть может, и у Смоленского полка будет возможность сразиться с врагом родины и тогда ты, Мирович, постарайся своими подвигами заслужить мою милость. Верных и храбрых солдат всегда ожидает богатая награда. Я не могу изменять решения своего великого предшественника, вполне справедливо поступившего с изменником, который, к твоему несчастью, был твоим предком.

– Этот офицер должен быть сейчас же арестован, ваше императорское величество, – сказал Григорий Григорьевич Орлов, разрывая бумагу на мелкие куски, – он должен быть примерно наказан, так как не имеет права таким образом останавливать вас, ваше императорское величество!

– Нет, Григорий Григорьевич, – сказала императрица, – я этого не хочу... Никакое наказание не может постигнуть русского воина за то, что он искал милости у своей императрицы, хотя бы даже она и не исполнила его просьбы.

Громкое «ура» солдат было ответом на слова императрицы.

Мирович, бледный как смерть, едва владея собой, вернулся на свое место пред ротой.

Императрица проехала дальше и ласково здоровалась со всеми гвардейскими полками.

Парад был скоро окончен. Екатерина Алексеевна подъехала к карете ландграфини Гессенской и несколько времени разговаривала с нею и принцессами; она представила им своего нового генерал-адъютанта Потемкина, причем дала самый лестный отзыв о нем. Григорий Орлов при этом сделал вид, что не слышал этого, и это еще более возбудило внимание всего двора.

Затем Екатерина Алексеевна еще раз выехала на середину площади, еще раз отдала ей честь войска, снова заиграли фанфара и весь царский поезд, имея во главе императрицу, двинулся по дороге к Петербургу.

Народ тогда двинулся на площадь, здоровался с солдатами, предлагал им всевозможные напитки и кушанья и по всему месту парада разлились веселье, шутки и смех. Офицеры дали на несколько часов отдых солдатам, так как императрица любила, чтобы ее парады всегда заканчивались народными праздниками. Оживление и кипучая жизнь царили около лагеря до самого захода солнца, когда раздались сигналы и солдаты должны были возвратиться к своим полкам.

Глава 3

Во время блестящего военного парада на равнине, простиравшейся к Петербургу, столица почти опустела. В ней исчезло многолюдство, которое в причудливом смешении простых русских костюмов с утонченной европейской роскошью оживляло широкие набережные Невы и более узкие улицы внутри города. Чуть ли не все население хлынуло за город, чтобы посмотреть на императрицу, на ее двор и войска и с, величайшим удовольствием принять участие в народном гулянье, которое должно было начаться после смотра.

Хотя Петербургу тогдашнего времени не доставало того необычайного, подавляющего своей колоссальностью великолепия, которое создалось впоследствии благодаря гениальному художественному вкусу Александра Благословенного и преодолевшей все преграды самодержавной воле императора Николая, однако резиденция Екатерины Второй была уже далеко не такова, как во время царствования императрицы Елизаветы Петровны. Правда, старинная крепость с Петропавловским собором по-прежнему возвышалась своими мрачными стенами и бастиянами на своем острове. Но вся окрестность уже свидетельствовала об энергичном господстве повелительницы, которая стремилась с неутомимым успехом и блестящим усердием продолжать в русском государстве дело Петра Первого и успела наложить отпечаток своих стремлений на внешний вид своей столицы. Все казенные здания, окружавшие старинную крепость, и мосты, которые вели к ней, были расширены, как и императорские дворцы, выстроенные на противоположном берегу широкой реки против Петропавловской крепости. К старому Зимнему дворцу примыкал соединенный с ним крытым ходом павильон, названный императрицей своим Эрмитажем. Здесь несметные богатства соединились с самым утонченным вкусом для дивного украшения комнат, куда повелительница необъятного государства, приобретавшего все больше веса среди европейских держав, уединялась, чтобы изучать проблемы великой политики или в легкой, непринужденной беседе с гостями отдыхать от трудов и забот правления.

Сады, окружавшие императорские дворцы, были расширены и улучшены, но главным украшением города служила обширная набережная Невы, представлявшая во времена императрицы Елизаветы Петровны только странное смешение хижин, пустырей и гордых, роскошных зданий; теперь же на ней возвышался ряд роскошных дворцов. Все чаще и чаще стали переселяться государственные сановники из своих провинциальных усадеб в Петербург, ставили средоточием власти и блеска, и в угоду императрице вырастал дворец за дворцом, соперничая в величине и пышности с прочими на берегу красивой, многоводной реки. Хотя эта широкая набережная была еще не вымощена и не соответствовала современным понятиям о бульваре в обширной столице, зато в пестром разнообразии роскошных карет, запряженных четверками и шестерками лошадей, с лакеями в разноцветных ливреях, со скороходами в шляпах с перьями, с пажами и шталмейстерами, было несравненно больше пышности и блеска, чем в наше время с его более простыми вкусами.

Кроме того, благодаря усердным и неусыпным заботам императрицы о развитии промышленности и торговли, было открыто множество роскошных магазинов всякого рода с богатыми складами товаров. Переселилось в Петербург много иностранных колонистов, и благосостояние среднего сословия все возрастало, так что не только старые улицы были удлинены и украшены новыми зданиями, но на обширном пространстве возникли совершенно новые части города с домами приветливого и нарядного вида, со светлыми улицами и широкими площадями. Также и в этих частях города, меньше соприкасавшихся с шумной придворной суетой, кипела пестрая, разнохарактерная жизнь, и если повсюду шныряла полиция, наблюдавшая за всем и знавшая все, что где-либо говорилось и делалось, то в царствование императрицы Екатерины Алексеевны агенты полицейского ведомства с его многочисленными разветвлениями

никому не мешали и никому не чинили обиды. Императрица довольствовалась тем, что все знала, все могла направлять своею мудрой рукой, осторожно минуя предательств подводные камни и лишь в случаях крайней необходимости прибегая к силе.

Эта система обеспечивала безопасность ее господства конечно успешнее, чем могло бы это сделать беспощадное применение царской власти. Прежде всего, она свидетельствовала об уверенности в себе, что всегда составляет самую надежную опору правительству. Эта система производила на всех заезжих иностранцев впечатление спокойного, твердого, прочного благоустройства и доставила императрице лестную похвалу европейских философов и славу свободомыслящей и милосердной повелительницы.

В населенных торговым сословием частях города, несмотря на большой парад, замечалось значительное оживление. Купцы, особенно же иностранные колонисты, не так охотно оставляли свою работу и свои занятия ради военного смотра, как простолюдины. Но и здесь не было наплыва покупателей и продавцов; многие горожане сидели у себя на крылечках и так привольно беседовали с соседями, точно дело происходило в маленьком провинциальном городишке, а не в столице громадного государства, раскинувшегося по Европе и Азии. Но почти совершенно вымершей казалась набережная Невы, обыкновенно блиставшая пестрым великолепием императорского двора. На далеком пространстве здесь не видно было ни души; караульные у Зимнего дворца с равнодушным видом посматривали от скуки то в одну, то в другую сторону, и даже широкая Нева, казалось, ленивее обыкновенного катила свои желтоватые волны мимо мрачных стен старинной твердыни.

Только один экипаж ездил взад и вперед по набережной; это был открытый фаэтон, легкий и изящный, с широкими, мягкими сидениями, обитыми шелком. Бородатый кучер твердой рукою сдерживал тройку прекрасных ретивых коней, заставляя их идти медленным шагом, и, то и дело поворачивая, держался вблизи императорского Зимнего дворца. Хозяин этой упряжки обладал оригинальной наружностью. Ему было лет пятьдесят, его скуластое лицо славянского типа, с низким лбом и косым разрезом глаз, было желтовато-серо, дрябло и морщинисто. Взгляд выражал хитрое коварство, а на бледных, тонких губах широкого рта играла высокомерная, насмешливая улыбка, которая поспешно сменялась раболепным смирением, если на одном из дворцовых подъездов случайно показывался кто-нибудь из низших придворных чинов. Это гладко выбритое, пошлое и некрасивое лицо, казалось, лучше всего подходило разносчику, бродящему со своим товаром от одного дома к другому. Оно производило еще более неприятное впечатление в виду своего резкого контраста с остальной внешностью этого пожилого господина, который неумоимо разъезжал по площади пред Зимним дворцом. Сухопарые члены его костлявого, угловатого тела были облечены в костюм темно-коричневого бархата новейшего французского покроя, с блестящим, роскошным серебряным шитьем. На его голове был завитой по моде и напудренный парик, на котором покачивалась маленькая шляпа с серебряными галунами. В руке он держал палку с серебряным набалдашником; и явное старание казаться изящным и моложавым прибавляло к неприятному выражению его некрасивого лица еще комичность, что делало этого господина похожим на разряженную обезьяну.

Уже довольно долгое время катался он по площади пред Зимним дворцом, когда на одном из боковых подъездов продолговатого здания показалась кучка мужчин и женщины; их веселый смех и оживленная болтовня составляли резкий контраст с торжественной тишиной, в которую погрузилась столица.

То была труппа французского театра императрицы, собравшаяся на репетицию пьесы, назначенной к представлению в тот вечер. Актеры были одеты просто, в костюмы темных цветов; большая часть актрис накинула широкие плащи на свои легкие утренние платья.

Громко раздавалась бойкая французская речь по площади, заставляя слегка покачивать головою то одного, то другого из часовых, которые не могли понять, каким образом эти еретики-чужеземцы имеют свободный доступ в царский дворец на святой Руси.

Едва актеры вышли на набережную, как мужчина, катавшийся на тройке, дотронулся набалдашником своей трости до плеча кучера. Тот, по-видимому, понял безмолвное приказание своего господина, потому что погнал лошадей рысью через площадь и осадил их как раз пред трупой.

– Ах, вот и господин Фирулькин, – воскликнул один из актеров, – наш превосходный друг и покровитель!

– Здравствуйте, господин Фирулькин! – раздалось со всех сторон приветствие старику, который старался с юношеской легкостью выпрыгнуть из фаэтона, но чуть не упал, так что один из молодых людей со смехом подхватил его в объятия, тогда как другой поднял с земли оброненную им трость и шепнул стоявшей возле него даме:

– Жаль, что нам предстоит сегодня играть не «Мещанина во дворянстве»; лучшего образца для такого типа решительно не найти, как этот татарин с его наружным лоском.

Фирулькин со снисходительной благодарностью взял от него трость; игриво помахивая ею, со сладенькой улыбочкой, делавшей еще отвратительнее его дряблое лицо, он поспешил к молодой девушке, которая при появлении этого субъекта попятилась назад. Ее изящное личико с мелкими чертами, пикантное, выразительное, принадлежало к типу, особенно свойственному парижанкам. Большие темные глаза сверкали умом и живостью и казались созданными на то, чтобы с легкой подвижностью быстро и уверенно выражать всякое душевное чувство – от глубочайшей скорби до самой бойкой радости. Она была закутана в широкий плащ, капюшон которого покрывал ее голову, но складки легкого, мягкого шелка даже в этом неуклюжем одеянии обнаруживали грацию ее стройного юношеского стана и красивый рост.

– Я знал, что у вас сегодня репетиция, мадемуазель Аделина, – сказал Фирулькин на беглом французском языке, но с грубым акцентом, – и позволил себе обождать здесь, чтобы отвезти вас домой; ваши нежные щечки, пожалуй, загорят на солнце в такую жару.

Приближение старого ловеласа заставило еще дальше попятиться молодую француженку. Глубокое отвращение отразилось на ее подвижном лице, которое вспыхнуло с досады, когда кругом раздалось подавленное хихиканье. Впрочем, она тотчас приняла бойкую, насмешливую мину и с улыбкой ответила:

– Вы слишком добры, господин Фирулькин! Я люблю солнце, и мое лицо не боится его лучей; но так как ваш фаэтон тут, то я с благодарностью принимаю вашу любезность. Мне нужно приготовить еще многое к вечернему спектаклю, и если я сокращу дорогу домой, то выиграю дорогое время.

Она слегка оперлась рукою на поданную ей руку Фирулькина. затем, задорно закинув голову, поклонилась своим товаркам, кидавшим на нее завистливо-недоброжелательные взоры, и прыгнула в открытый экипаж, где рядом с нею уселся его обладатель.

Кучер, должно быть, знал заранее, куда надо везти. Он слегка щелкнул языком, и тройка понеслась стрелою, а затем на углу набережной Фонтанки повернула во внутренние кварталы города.

– Как надменно посмотрела на нас эта смешная Аделина! – заметила одна молодая актриса. – Не понимаю, право, что находят в ней мужчины! Недостаток красоты и ума эта девушка старается заменить жеманством. Со всеми нашими красивыми и элегантными придворными кавалерами она холодна, как лед, или, по крайней мере, притворяется такою, и вдруг едет открыто по улицам с этим уродом Фирулькиным! Я думаю, Аделина поймает-таки его и женит на себе. Ну, откровенно говоря, я не завидую ей из-за такой победы!

– И мы также нет! И мы также нет! – со смехом подхватили остальные!

Но актер, на амплу героев, пожимая плечами, сказал:

– Вы лжете прямо от зависти. Если бы этот старый Фирулькин положил к вашим ногам свои миллионы, то вы наверно перестали бы находить его таким безобразным и смешным. Впрочем, вы имеете полное право завидовать ей. Ведь если крошка Аделина сделается в один

прекрасный день госпожою Фирулькиной, то еще успеет развлечься с красивым гвардейцем. Сначала дело, а потом удовольствие! Но Аделина так не думает, она иного закала, чем вы все. Мне кажется, ее сердечко томится в чьем-нибудь плену и из-за этого остается неприступным даже для миллионов Фирулькина, если бы не так, то, клянусь Богом, эта девушка была бы достойна, чтобы ею восхищался даже артист!

Он закутался в плащ и с трагической осанкой пошел прочь.

Тихонько пересмеиваясь, остальные еще с минуту пошептались между собою, после чего труппа рассеялась и каждый вернулся восвояси.

Фирулькин быстро катил с Аделиной по Фонтанке. Важно развалившись, с победоносной улыбкой на губах, он сидел возле молодой девушки, которая с юношеской веселостью наслаждалась быстрой ездой. С надменной снисходительностью отвечал миллионер на низкие поклоны стоявших, у своих Дверей горожан, не замечая, что все они потом смотрели ему вслед, насмешливо улыбаясь и покачивая головой.

С набережной Фонтанки кучер повернул в одну из маленьких соседних улиц, где разом осадил лошадей пред скромным по виду домом. Фирулькин подал руку Аделине и проводил молоденькую актрису, хотевшую проститься с ним после выражения благодарности на пороге сеней, в первый этаж, – любезность, которую она приняла с досадой и смущением.

На верхней площадке лестницы навстречу им вышла из отворенной двери просто, почти бедно обставленной гостиной дама лет пятидесяти со следами былой красоты на лице, хотя ее черты были резки и грубы, глаза пронзительны, а фигура слишком коренаста и толста. Она была довольно кокетливо одета по последней парижской моде, но ни покроем, ни цветом ее платья уже не соответствовали ее летам. Хозяйка сделала торжественный реверанс, один из тех, к которым привыкла на сцене, когда исполняла роли важных особ, и гость нашел нужным ответить на ее приветствие с не менее торжественной важностью.

– Как вы добры, сударь, – сказала старуха, – что привезли домой мою дочь. Вы, право, конфузите нас!

– В самом деле, – вмешалась Аделина, принимая соболезнующий тон, тогда как ее глаза сверкнули задорным лукавством, – действительно господин Фирулькин чересчур добр ко мне. Мало того, что он привез меня домой, ему вздумалось еще проводить меня сюда, а ведь в его годы, должно быть, трудненько лазать по крутым лестницам!

Старуха бросила дочери гневный, укоризненный взор и ввела в гостиную Фирулькина, который сделал вид, что не слышал колких слов шаловливой девушки.

Скинув плащ, Аделина осталась в светлом, легком утреннем платье. Несмотря на крайнюю простоту, оно придавало ей своею благоухающей свежестью столько очарования, что гость не мог воздержаться, чтобы не поцеловать руки молоденькой артистки и не отпустить ей довольно приторного, но, судя по жгучему взору его хитрых глазок, весьма прочувствованного комплимента ее красоте.

Аделина, словно в испуге, отдернула свою руку, а Фирулькин произнес:

– Несмотря на ранний час, я позволил себе беспокоить вас своим визитом, почтеннейшая мадам Леметр, не только ради того, чтобы доставить вашу милейшую дочку к ее превосходной матери, но также имеет в виду серьезно потолковать с вами и осуществить давно принятое мною решение.

– Садитесь, пожалуйста, господин Фирулькин! – сказала старуха, подвигая стул и садясь сама с такою миной, какую она всегда принимала в начале сцены объяснений на театральных подмостках.

Ее лицо выражало не столько любопытство, сколько осторожное, сдержанное довольство. Аделина хотела выйти из комнаты, но гость поймал ее за руку, когда она проходила мимо, и сказал:

– Останьтесь, мадемуазель Аделина, останьтесь! То, что я приехал сообщить вашей матушке, более всего касается вас самих. Долгие годы, – продолжал он, тогда как Аделина, вся пылавшая румянцем, остановилась возле него, тщетно стараясь освободить свою руку, – да, долгие годы трудился я, чтобы, согласно воле нашей великой государыни, все более и более содействовать расцвету отечественной торговли. Мои труды не остались бесплодными и теперь всякому известно, что Петр Севастьянович Фирулькин – одно из первостатейных лиц в именитом петербургском купечестве. Мое состояние исчисляется миллионами и увеличивается с каждым днем. Но при обширности моих торговых предприятий и связанных с ними частых разъездах я не успел до сих пор обзавестись своим домком и выбрать себе подругу жизни, достойную распоряжаться несметными богатствами, которые я могу положить к ее ногам. Теперь мое решение принято, выбор сделан, и он остановился на вас, мадемуазель Аделина, потому что вы обладаете всеми качествами, делающими вас достойной блестящего жребия, который я могу предложить вам вместе со своей рукой.

Последние слова Фирулькин произнес таким тоном, точно возвещал госпоже Леметр с ее дочерью великое, неожиданное счастье. И действительно лицо старой актрисы сияло безграничной радостью; между тем Аделина побледнела. Ее глаза горели гневом, отвращением и она резко выдернула у гостя свою руку.

– Итак, – продолжал он, – постановив свой выбор и решение, я приехал к вам, мадам Леметр, просить у вас руки вашей милейшей дочки, чтобы потом безотлагательно сыграть и свадьбу. Нам нет надобности откладывать ее, – с самодовольной улыбкой прибавил жених-миллионер, – мой дом на Морской устроен вполне и всегда готов к приему хоть коронованной особы. Мадемуазель Аделина должна только решить, какую отделку выбрать для ее комнат, и тогда она убедится, что для Петра Севастьяновича Фирулькина не существует никаких препятствий для исполнения желаний и прихотей его невесты.

– Ваше предложение, – сказала старуха, – настолько же неожиданно, насколько почетно, и...

– Постой, мама, постой! – воскликнула Аделина, причем ее бледные щеки загорелись ярким румянцем. – Дело нашей чести ни на минуту не оставлять господина Фирулькина в неведении о том, что его предложение... действительно крайне лестно и почетно для меня, – с горькой насмешливостью прибавила молодая Девушка, – но тем не менее оно никогда не можете быть принято, никогда! Ты сама знаешь это, мама!.. Послушайте, сударь; мое сердце уже не свободно... моя любовь принадлежит благородному человеку; я дала ему клятву верности и не нарушу ее. Забудем о том, что сейчас было сказано между нами, и останемся добрыми друзьями, – заключила она таким холодным тоном и с таким взглядом, которые ясно доказывали, как мало дорожить артистка даже дружбой отвергнутого ею жениха.

Онемев от изумления, Фирулькин опустился на стул.

Первые купеческие дома в Петербурге сочли бы за высокую честь породниться с ним. Родители самых завидных невест явно заискивали в нем, осторожно обиняками осведомляясь о его планах насчет женитьбы. И вдруг какая-то ничтожная французская «актерка», которую он вздумал поднять из ничтожества, осмелилась отвергнуть его – Петра Севастьяновича Фирулькина, пред которым склонялось все, который все держал в своих руках, пред которым трепетали самые гордые гвардейцы и придворные кавалеры! Это было до того неслыханно, невероятно, что в первый момент сильнейшее изумление заглушило в нем все прочие чувства.

Между тем г-жа Леметр гневно вскочила и воскликнула:

– Не слушайте глупого, неблагодарного ребенка, господин Фирулькин! Да, правда, к сожалению, правда, что она, дав волю ребяческой фантазии, вообразила, будто любить одного молодого человека, который не более, как бедный поручик без состояния и каких бы то ни было видов на карьеру. Я не раз уже упрекала себя, что терпела его посещения, но могу уверить вас, что здесь нет ничего предосудительного, что было бы нужно таить от добрых людей; мою

дочь нельзя упрекнуть ни в чем, кроме ребяческого каприза, которому надо положить теперь конец. Будьте снисходительны к глупости ребенка!

Фирулькин, уже успевший оправиться, ответил на это с благосклонной улыбкой:

– Вполне естественно, что такая красивая девушка, как мадемуазель Аделина, не могла вырасти без мимолетной вспышки юношеского чувства. Итак, позабудем это. Госпожа Фирулькина на высоте своего блестящего положения вскоре будет улыбаться сама, вспоминая подобную грезу юности!

– Нет, сударь, нет! – подхватила Аделина, – этому никогда не бывать, потому что эта греза юности составляет содержание всей моей жизни. А ты, мама, не вправе говорить так, как говорила сейчас: тебе известно, что моя верность неотъемлемо принадлежит любимому мною человеку. Правда, он беден, но не теряет еще надежды достичь и богатства, за которым гоняется свет, если ему будут возвращены его наследственные имения. Ты сама назначила ему срок и обещала мою руку, если его надежда осуществится. Сегодня он сделал решительный шаг... может быть, уже сегодня милость императрицы отменила суровый приговор, постигший его предков. Ты обязана выждать срок, который назначила ему сама. Но, даже если бы он обманулся в своих расчетах, я не расстанусь с ним.

– Все это – глупости, – насмешливо возразила старуха, – твои фантастические надежды неосуществимы. А тут действительность, почетная, блестящая действительность, и материнский долг повелевает мне заставить мою дочь очнуться от обманчивых грез.

Прежде чем Аделина успела ответить, в сенях послышался звон шпор, дверь отворилась, и подпоручик Василий Яковлевич Мирович в блестящем парадном мундире переступил порог. С криком радости кинулась Аделина ему навстречу, охватила его обеими руками и припала головой к его груди, точно прося защиты.

Лицо молодого офицера было бледно и расстроено; его взоры мрачно остановились на трепетавшей молодой девушке.

Фирулькин смотрел на него коварно блесевшими глазами.

– Вы пришли очень кстати, мосье Мирович, – сказала г-жа Леметр. – Ну, как обстоит дело с вашими надеждами, которыми вы так часто тешили мою дочь? Что скажете вы насчет громадных наследственных имений, которые должен был вам принести сегодняшний день?

Мирович горько засмеялся.

– Наша всемилостивейшая императрица, – с едкой язвительностью ответил он, – так набожна и богобоязненна, что не смеет изменить ничего в словах Священного Писания. Там сказано, что грехи отцов взыщутся на детях до третьего и четвертого колена; поэтому она отвергла просьбу, с которой обратился к ней внук мятежника, и в своей великой милости избавила его только от наказания, заслуженного им такой великой дерзостью.

– О, Боже мой! – жалобно воскликнула Аделина, опускаясь, как подкошенная, на стул.

– В таком случае, – сказала г-жа Леметр, – вы поймете, что здесь вам больше нечего делать. Я готова допустить, что вы сами были обмануты ложными надеждами; во всяком случае, мое дитя сделалось жертвою этого обмана. Я должна просить вас прекратить свои посещения, потому что мы не можем больше принимать их. С сегодня Аделина сделалась невестой моего почтенного друга, Петра Севастьяновича Фирулькина.

Мирович вздрогнул; казалось, он только теперь заметил присутствие постороннего лица. Страдальческий вздох вырвался у него из груди.

– Нет, это – неправда, – вскакивая, воскликнула Аделина, – я – не невеста господина Фирулькина! Я – твоя, мой Василий твоя навсегда и навек!

– Я не сомневаюсь, – холодно вмешалась г-жа Леметр, кидая уничтожающий взгляд на молодого человека, – что офицер состоящей на службе ее величества, не будет колебаться на счет того, чего требует от него честь по отношению к девушке, которая, по воле своей матери, должна сделаться супругой всеми уважаемого и почтенного человека.

– Мне приятно, – с коварной улыбкой сказал Фирулькин, – что я имею удовольствие встретить здесь Василия Яковлевича Мировича, которого я ждал к себе уже несколько дней, чтобы узнать, когда я могу рассчитывать на уплату двух тысяч рублей, данных ему мною займы разными суммами в течение последних двух лет.

Мирович побледнел еще больше, с невыразимым презрением посмотрел на Фирулькина и промолвил:

– Вы упомянули о чести, мадам Леметр; это слово здесь неуместно... Я совсем забыл, что все на свете продажно, не исключая любви и верности. Ваши деньги я не могу вам возвратить, господин Фирулькин, – прибавил он с язвительным смехом, – зачислите их в счет платы за вашу невесту. Прощай, Аделина, – закончил он, – ведь я забыл, что и ты, дивная роза моей жизни, – не более, как товар, который может купить какой-нибудь Фирулькин для украшения своего сада!

– О, Василий! – воскликнула Аделина, боязливо ухватившись за него, – ты несправедлив, я не хочу слышать слова твоего прощания. Моя мать имеет власть разлучить меня с тобою, но она не имеет ни власти, ни права принудить меня надеть ненавистное ярмо. Никогда я не дам ложной клятвы пред Господним алтарем, никогда не изменю своей любви. Послушай, послушай меня. Василий! Я твоя, только твоя навсегда и навеки; и если я не могу принадлежать тебе на земле, то буду спокойно и терпеливо дожидаться, пока Господь соединит нас, наконец, на небесах. Выслушай, выслушай меня, мой Василий! – с мольбою продолжала она, видя, что Мирович по-прежнему сурово смотрит пред собою. – Ты не должен отталкивать меня, тебе следует оставить мне утешение, что я любима тобою, что ты веришь мне!

– Цветок веры, – угрюмо ответил молодой офицер, – распускается в солнечном сиянии счастья, тогда как в холодном мраке бедствия растет только горькое, ядовитое зелье недоверия!

– А разве наша любовь, – подхватила Аделина, – не солнечный свет, лучи которого сияют тем ярче и теплее, чем мрачнее и холоднее окутывающая нас тьма?

– Милостивый государь, – заметила мадам Леметр, – вы забываете, что находитесь в моей комнате.

Мирович гордо выпрямился; он смерил старуху гневным, грозным взором, потом крепко прижал Аделину к своей груди и воскликнул:

– Да, ты права, моя дорогая. Чистое, небесное сияние нашей любви никогда не померкнет из-за жалкого золота, пред властью которого преклоняются только пошлые души. Да, я буду верить в тебя; клянусь тебе, что я не расстанусь с тобой, и клянусь также, – прибавил он, поднимая руку к небу, – что я стану бороться за нашу любовь. Я противопоставлю судьбе человечески ум и человеческую волю и Бог, пробуждающий любовь в человеческих сердцах, будет со мною. Я одержу победу ради тебя и своей любви, и высокомерные люди, которые презирают теперь бедного подпоручика, будут принуждены пресмыкаться в прахе у моих ног. Я знаю путь, который должен привести меня к величию, власти и славе.

Его голос звучал какой-то странной, пророческой торжественностью.

Госпожа Леметр боязливо попятилась.

Аделина смотрела счастливыми, сияющими глазами на молодого, красивого мужчину, говорившего с такою гордой уверенностью. Однако смелый, капризный задор, оживлявший раньше ее лицо, теперь пропал; святое воодушевление сияло в ее чертах. Когда она, опираясь на Мировича, смотрела на него вверх, то напоминала героиню, готовую вступить в священный бой наряду со своим возлюбленным.

– Прощай, моя Аделина, – воскликнул Мирович, – вскоре ты услышишь обо мне!

Он заключил ее в объятия, наклонился к ней и слил свои горячие уста с ее устами.

– Это уж слишком, милостивый государь, – воскликнул Фирулькин, стоявший до сих пор в стороне, колеблясь между гневом и страхом. – Это уже слишком: вы осмеливаетесь целовать мою невесту в моем присутствии!

Вне себя кинулся он вперед и коснулся руки молодого человека, чтобы оттащить его от Аделины.

Мирович выпустил девушку из объятий. Не говоря ни слова, он оттолкнул Фирулькина с такою силой, что тот, покачнувшись, упал на стул. В следующий момент молодой человек исчез, и было слышно только звяканье его пашки по лестнице.

– Неслыханно, неслыханно! – воскликнула г-жа Леметр. – Прошу вас, почтеннейший господин Фирулькин, простите эту возмутительную выходку: я тут не при чем.

– Оставим это, оставим это, мадам Леметр, – ответил Фирулькин, – это – заблуждение юности, больше ничего, да, заблуждение которое мы позабудем...

– Я уже объяснилась с вами, господин Фирулькин, – холодно и твердо произнесла Аделина, – и никогда, клянусь Богом, не изменю своего решения. Жестокая судьба может разлучить меня с моим возлюбленным, но я буду хранить ему верность и никогда – слушайте хорошенько! – никогда не протяну вам своей руки!

Она поклонилась мимоходом и прошла в соседнюю комнату, где на столах и стульях были разложены принадлежности ее костюма для вечернего спектакля в Зимнем дворце.

Молодая девушка заперла за собою дверь, а затем посреди мишуры, в которой ей предстояло вечером веселить двор императрицы, опустилась на колена, стараясь почерпнуть в усердной молитве утешение в своем горе, после того как рухнула надежда всей ее жизни.

Фирулькин между тем успокаивал дрожавшую от страха госпожу Леметр, которая боялась, что неожиданно разыгравшаяся сцена может оттолкнуть такого богатого и завидного жениха.

– Кто не хочет иметь соперника, – промолвил он со своей слащавой, самоуверенной улыбкой, – тот должен довольствоваться тем, что никому не нужно. Маленький шип возвышает прелесть розы, а Петр Севастьянович Фирулькин может справиться со всеми соперниками. Мирович кажется мне опасным. Какие дерзкие, кощунственные речи вел он о нашей всемилостивейшей императрице, да хранит ее Господь! – прибавил гость, набожно крестясь. – Но у Петра Фирулькина везде есть друзья; этого Мировича можно быстро сделать безвредным, а я все-таки тем временем стану готовиться к свадьбе с милейшей Аделиной.

Он поцеловал руку г-жи Леметр, обещал на прощание. Вскоре заглянуть к ней вновь и покати́л домой в своем легком экипаже.

Глава 4

Вскоре после того, как Петр Севастьянович Фирулькин укатил обратно в свой великолепный, отделанный с княжеской пышностью особняк на Большой Морской, пустынные до тех пор улицы Петербурга начали вновь оживляться: Зажиточный круг среднего сословия и не состоявшее непосредственно на придворной службе дворянство вернулось с военного поля обратно, тогда как простой народ оставался еще там, чтобы воспользоваться бесплатными развлечениями, устроенными императрицей.

Екатерина Алексеевна со своей свитой сначала поехала медленно по дороге в Петербург, но потом пустила свою лошадь в галоп, и блестящая пестрая императорская кавалькада помчалась так быстро обратно в столицу, что неповоротливая карета ландграфини Гессенской не могла следовать за нею. И, наконец, осталась позади с назначенными состоять при иностранных принцессах шталмейстерами и кавалерами, к великой досаде обеих августейших дам, которые осыпали горькими замечаниями свою сестру Вильгельмину, скакавшую верхом возле великого князя сейчас за императрицей.

Ни один из частных экипажей не успел еще въехать в город, как Екатерина Алексеевна уже остановила своего взмыленного иноходца пред главным подъездом Зимнего дворца.

С быстротой молнии прыгнул Потемкин с седла и, отстранив дежурного шталмейстера, стал держать стремя императрицы, протянув ей также руку, чтобы помочь ей сойти.

– Ваше императорское величество, – сказал он, – позвольте вашему генерал-адъютанту, который был обречен так долго жить вдали от своей повелительницы, оказать вам сегодня и эту услугу.

Екатерина Алексеевна заглянула прямо в пламенные глаза Потемкина.

– Вдали вы оказали мне еще более важные услуги, Григорий Александрович, – сказала она, благосклонно улыбаясь. – Однако я радуюсь этой мелкой услуге, оказываемой мне вами теперь. Ваша рука как там, так и здесь, служит мне верной и твердой опорой.

Государыня наклонилась; ее нога как будто выскользнула из стремени, она покачнулась в седле с легким криком испуга, который привел в беспокойство лошадь. Но Потемкин уже сильной рукою охватил Екатерину Алексеевну, она прильнула к его плечу, а он, крепко прижав ее к себе, несколько мгновений не выпускал из объятий, после чего осторожно поставил наземь. Государыня казалась смущенной; она почувствовала горячее дыхание Потемкина на своей щеке. Дрожа и краснея, она потупилась и сказала:

– Благодарю вас, Григорий Александрович, вы снова доказали мне, как твердо могу я положиться на вас. Вы должны оставаться вблизи меня. Приготовить генералу квартиру во дворце! – приказала она, обращаясь к дежурным камергерам, которые все сошли с лошадей и окружили ее, тогда как Орлов все еще сидел в седле, с надменным равнодушием отдавая своим приближенным некоторые приказания и как будто нисколько не думая об императрице.

– Когда вы устроитесь у себя в комнатах, – продолжала Екатерина Алексеевна, снова повернувшись к Потемкину, – то я ожидаю вас к себе. Вы должны рассказать мне о подвигах храбрости моих солдат, в которых вы сами принимали такое славное участие.

Она раскланялась кругом и в сопровождении принцессы Вильгельмины, которую снял с седла великий князь, вошла в подъезд дворца, чтобы подняться по лестнице в свои покои. Только кавалеры и дамы, состоявшие на ее непосредственной службе, и великий князь последовали за нею; в это же время музыканты караула заиграли и все головы обнажились.

Один Григорий Григорьевич Орлов как будто не замечал удаления императрицы. Он по-прежнему спокойно разговаривал с окружавшими его офицерами, а потом подал знак своему брату Алексею и поскакал в свой Мраморный дворец, расположенный в некотором отдалении от Зимнего дворца, ближе к Летнему саду. Это жилище, подаренное Орлову императрицей,

было еще не вполне готово; совершенно отстроить успели только средний корпус, тогда как флигеля еще только возводились.

Когда Орлов удалился, то вся толпа придворных, которая до сих пор в неловком смущении держалась позади, стала тесниться к Потемкину и осыпать поздравлениями и комплиментами так явно отличенного генерала; в котором тотчас же признали новое восходящее светило русской жизни.

Эти почести он принимал с любезной учтивостью, но в то же время с гордой сдержанностью, и быстро последовал за оберкамергером графом Строгановым; последний, согласно приказу императрицы, просил позволения проводить генерала на его квартиру, чтобы узнать, как пожелает он распорядиться насчет ее устройства.

Потемкин вступил со своим провожатым в ряд смежных комнат совершенно обособленного помещения. То был один из апартаментов, всегда стоявших наготове для приема иностранных августейших особ в Зимнем дворце; как парадные комнаты, так и столовая, и спальня, уборная и ванная отличались здесь ослепительной роскошью и тонким, благородным вкусом, которые всегда умела сочетать между собою императрица Екатерина Алексеевна.

По осмотру квартиры Потемкин заявил графу Строганову, что отложит пока всякие перемены в ее устройств, а теперь нуждается только в некотором отдыхе.

Когда граф Строганов удалился, наконец, сказав, что тотчас составить штат служащих для вновь назначенного генерал-адъютанта ее императорского величества, Потемкин с сияющим взором прошелся один по великолепным комнатам, куда попал так внезапно, и где все представляло такой разительный контраст с суровой походной жизнью в лагерь, которую он вел до сих пор.

За пышными приемными комнатами, блиставшими позолотой и мрамором, утопавшими в мягких коврах, обставленными мягкой мебелью, обитой драгоценными тканями, следовала скромная библиотека; в ней стены были выложены темным деревом и уставлены книжными шкафами, где красовалось под стеклом богатое собрание книг в переплетах с шифром императрицы. Посредине этой комнаты, освещенной единственным окном, стоял стол, покрытый зеленым бархатом, с полным письменным прибором. Рядом с ним помещался на черной мраморной колонне большой подвижной глобус художественной работы.

Пораженный спокойной, прекрасной гармонией этого уголка Потемкин остановился на минуту и присел на один из низких удобных диванов, расставленных в уютных нишах между книгохранилищами.

– Ах, – промолвил он, глубоко переводя дух, распустив круглый воротник своего мундира и сбросив с себя шляпу и шпагу, – вера в мою счастливую звезду не обманула-таки меня; долгие годы лишений и так часто разбивавшихся пылких надежд миновали. Екатерина не забыла меня, я достиг своей цели!

Он простер руку и осмотрелся так гордо и повелительно кругом, точно весь свет лежал у его ног; но потом его рука медленно опустилась опять, сияющий взор омрачился, голова поникла на грудь.

– Достиг цели! – глухо произнес он. – Полно, так ли? Разве цель моей жизни заключается в том, чтобы переменить походную палатку на эти комнаты с их царской пышностью, которая, в сущности, не значит ничего? До нее возвысила меня прихоть и та же самая прихоть может снова изгнать меня отсюда. Неужели честолюбие Потемкина должно привести его к тому, чтобы он сделался игрушкой в руках женщины? Да, я люблю Екатерину; ведь она – одна из женщин, каких не случалось мне еще встречать на белом свете; она полна огня и пылкости, полна жизни и ума, воли и силы. Эта любовь пожирала меня долгие годы... Да, я люблю женщину, но я люблю также императрицу, а кто любит императрицу, тот должен или унизиться до рабства, или подчинить себе мир и подниматься все выше, пока над ним не останется уже больше никакой высоты. Женщина принадлежит мне: это я почувствовал

в пожатии руки Екатерины, прочел в ее взоре... но долго ли будет принадлежать мне она, и как холодно, как высоко стоит, пожалуй, императрица над любящею женщиною? Нет, нет, – воскликнул он, быстро вскакивая, – не в том моя цель; мое честолюбие не способно удовлетвориться тем, что я сделаюсь преемником Григория Орлова. Не по мне быть только забавою влюбленной женщины, игрушкой, которую в один прекрасный день, может быть, разобьет или оттолкнет в прах ничтожества императрица. Нет, любовь женщины может умереть, пресытившись наслаждением, но господство над императрицей должно укрепляться собственной силой, должно возрастать от собственного величия; сердце стареет, кровь остывает, но ум остается вечно юным, а в ум обитает господство. Что совершил Орлов? Он помог Екатерину взойти на трон, это – правда; но он был лишь неодоушевленным подножием, которое послужило опорой для ее собственного врожденного властолюбия; его неуклюжей руки не удержать господства, расшатанного им же самим, благодаря грубому злоупотреблению. Удержать... ты говоришь об удержании. Григорий Александрович, тогда как нужно сначала достичь господства. При виде тебя закипает только горячая кровь женщины, но холодной и чуждой стоит императрица перед тобою и над тобою; ты не имеешь прав на ее благодарность, которую заслужил Григорий Орлов!

Некоторое время Потемкин стоял в мрачном раздумье.

– Благодарность, – заговорил он потом, – великое дело, но благодарность принадлежит здесь прошедшему и все дальше и дальше отодвигается назад, как бледнеющее воспоминание минувших дней; будущее же можно подчинить себе только посредством будущего.

Задумчиво пройдясь взад и вперед по комнате, генерал остановился перед глобусом и, погруженный в размышления, оперся рукою на художественно эмалированный шар. Равнодушно скользил его взор по изображению земли; но вдруг он стал все пристальнее и пристальнее всматриваться в обращенную к нему карту Европы.

– Да, – воскликнул он, – вот оно! Предо мною брезжит свет, он разгорается все ярче... Да, будущее можно подчинить себе только будущим; не на благодарность, не на воспоминание лишь о прошлом может опираться господство; не посредством одной благодарности можно завладеть императрицей и удержать ее; лишь великая, мощная идея заключает в себе ту волшебную силу, которая необходима, чтобы сделаться господином и самой императрицы. Высокая, благородная, лучезарная цель, чересчур отдаленная для быстротечного человеческого существования, но неодолимо влекущая к себе, вечно оставаясь, однако недостижимой, – цель, от которой, несмотря на это, не позволяют отказаться страстное желание и помогающая гордость, – вот что нужно здесь!.. И эта цель найдена! – заключил он, ликуя от радости. – Я открою императрице путь, конец которого теряется в ослепительном блеске, и с этого пути она никогда не свернет назад, никогда не остановится на нем и не найдет для себя иного, достаточно смелого и великого спутника, кроме меня.

Потемкин оперся рукою на глобус и высоко поднял голову; дивным блеском сверкали его глаза, и он стоял с таким победоносным, повелительным видом, так гордо выпрямился, точно, в самом деле, чувствовал земной шар под «своей ладонью и был в состоянии направлять его путь.

Тут до его слуха донесся легкий шелест шелковой портьеры на дверях, которые вели в богато отделанную спальню.

Обернувшись в испуге, он увидел перед собою пажа императрицы. С низким, почтительным поклоном подал тот ему золотой ларчик, роскошно украшенный драгоценными камнями.

– Ее императорское величество приказала мне вручить это вашему превосходительству и вместе с тем передать, что государыня императрица ожидает вас через полчаса в Эрмитаже.

– Я буду сейчас к услугам ее императорского величества, – ответил Потемкин, в полном замешательстве поглядывая то на золотой ларчик, то на пажа. – Но как же ты попал сюда? неужели через спальню?

– Точно так, ваше превосходительство, – подтвердил паж. – Чтобы скорее передать вам приказание ее императорского величества, я избрал кратчайший путь. Это помещение сообщается с императорскими покоями особым ходом, куда ведет вот та потайная дверь. – Он откинул портьеру и указал на отворенную дверь в стене роскошно обставленной спальни, за которой виднелся длинный коридор, освещенный сверху, после чего продолжал, между тем как Потемкин с торжествующей улыбкой смотрел на стоявшую настежь потайную дверь. – Другой путь ведет далеко кругом, по коридорам и большим авансалам, а так как ее императорское величество приказала мне поторопиться, то я прошел здесь.

– А эта квартира?.. – нерешительно спросил Потемкин.

– Принадлежала раньше ее Жительству княгине Дашковой, – ответил паж, – прежде чем она перебралась во дворец своего супруга, который долго строился; с тех пор эти комнаты стояли пустыми.

– Спасибо тебе! – сказал Потемкин. – Ступай обратно, я сейчас последую за тобой!

Паж исчез, и дверь от потайного входа захлопнулась так плотно в оклеенной обоями стене, что пропал всякий ее след. Потемкин ощупывал то место, где сейчас видел отверстие; но тут нельзя было ничего различить, разве узкую щель в обоях, не было ни ручки, ни кнопки, посредством которых было бы можно снова отворить запертый выход.

– Ах, – промолвил генерал, – теперь я понимаю: любящая женщина будет иметь возможность найти дорогу к любимому человеку, но подданному доступ к его повелительнице должен быть закрыт; только от ее воли, от ее прихоти должно зависеть счастье, когда же эта прихоть минует, дверь не должна больше отворяться.

Он отпер ларчик, принесенный ему пажом; в нем лежал бумажник синего бархата с вензелем императрицы из драгоценного жемчуга. Потемкин развернул его; в бумажнике оказалась подписанная императрицей ассигновка на государственное казначейство в сто тысяч рублей.

Черты генерала омрачились.

– Эти деньги, – сказал он, – которые она кидает мне, как дарят ребенку блестящую игрушку, эта дверь, которая отворяется лишь по ее произволу, служат мне доказательством, насколько я был прав и насколько глубока пропасть, отделяющая сердце женщины от гордого ума императрицы. Допустим, сердце женщины я держу сегодня в своей руке; твердо стоит моя нога на одной стороне пропасти, за которую удаляется неприступное величие повелительницы. Но мудрость, сила и воля должны соорудить мне мост, который приведет меня и туда, где мне уже нечего бояться никакого соперника.

Он позвонил в колокольчик, стоявший на богато убранном туалетном столе.

Граф Строганов сдержал слово: полный штат прислуги был уже составлен им для нового генерал-адъютанта. Почти одновременно со звоном колокольчика явился камердинер и приступил к поспешному одеванию своего нового господина с таким умением и ловкостью, точно он служил у него много лет. Не прошло и получаса, как Потемкин вышел через свои приемные комнаты, у дверей которых были расставлены многочисленные лакеи, в большой коридор и отправился к императрице.

Часовые отдавали ему честь, слуги и придворные чиновники на площадках лестниц почтительно кланялись. Каждый, казалось, прекрасно знал нового генерал-адъютанта императрицы, и Потемкин испытывал странное чувство, как будто фантастическое сновидение или рука волшебницы перенесли его из суровой, тягостной и полной лишений военной жизни вдруг, без всякого перехода, в очарованный дворец, где никто, кроме его самого, не создавал, что он вступил совершенно новым и чуждым человеком в непривычную ему среду.

Дежурный у входа в покои императрицы не стал дожидаться, чтобы Потемкин назвал свое имя и сослался на приказ ее величества: услужливо, с низким поклоном отворил он при виде генерала золоченую дверь.

Гвардейцы в передней вытянулись пред ним в струнку. Камергер любезно раскланялся с ним и один из дежурных пажей пошел впереди Потемкина, чтобы провести его к государыне.

С тревожно бившимся сердцем, но с гордой, уверенной осанкой проходил Григорий Александрович вслед за своим путеводителем по множеству зал. От одного из них широкая крытая галерея вела в павильон, пристроенный императрицею к Зимнему дворцу и названный ею своим Эрмитажем. Прелестные маленькие комнаты, украшенные драгоценными картинами и великолепными античными произведениями искусства из мрамора и бронзы, были расположены здесь анфиладой.

Один из пажей провел Потемкина мимо дворцовых гвардейцев в их живописных мундирах с богатым серебряным шитьем, стоявших на карауле у входа в этот уединенный царский уголок, и, наконец, остановился у тяжелого бархатного занавеса, скрывавшего дверь маленькой комнаты, украшенной мраморными статуями.

– Ее императорское величество! – почтительно прошептал он, указывая на этот занавес, и быстро скрылся, скользя по паркету.

Потемкин откинул тяжелую портьеру, и возглас восхищения сорвался с его уст, когда он вступил в завешанное ею пространство. В самом деле, картина, открывшаяся пред ним, могла только усилить впечатление, что он находится под влиянием чар благодетельной феи.

Помещение, открывшееся пред Потемкиным, было сплошь обито голубым шелком; тяжелые восточные ковры такой дивной красоты, какую мог блистать только подарок персидского шаха самодержавной повелительнице Российской империи, покрывали пол, пленяя взоры роскошным сочетанием красок; из серебряной курильницы струились упоительные ароматы Аравии. Во всей комнате было единственное окно, зато широкая стена, противоположная входу, была открыта, и волшебный чертог примыкал к обширному, крытому стеклом зимнему саду, простиравшемуся благодаря зеркальным стенам, как будто до бесконечности. Здесь извивались серебристые ручьи, то шумя каскадами по мраморным ступеням, то собираясь в бассейны, откуда били высокие водяные струи, чтобы, распылившись в атомы и отливая алмазным блеском, снова падать вниз. Здесь цвели ярко-пурпуровые тропические цветы, а фрукты всех климатов висели в пышном изобилии; индийский ананас, благоухая, подымался из колючих листьев; гроздь испанского, итальянского и греческого винограда выглядывала из-под зелени кудрявых лоз. А тут же, рядом с ними, стояли апельсиновые деревья в цвете или отягченные зрелыми золотистыми фруктами. Свет падал сквозь зеленую листву всех этих растений, напоминая чудеса, которыми человеческая фантазия склонна украшать земной рай после первых дней мироздания. Благодаря этому, в голубой комнате господствовал мягкий сумрак, в котором единственное поставленное там произведение искусства – Диана, подглядывающая за спящим Эндимионом, как будто оживало силою таинственных чар. На пышной оттоманке, посреди комнаты, полулежала императрица Екатерина Алексеевна. Свою амазонку, в которой она присутствовала на параде, государыня переменила на широкое одеяние с множеством складок из мягкого белого шелка, изящно вышитого золотом; ее волосы, свернутые греческим узлом, свободно и легко спускались на затылок; магически освещенная в этом сумраке яркая прелесть юношеской красоты, отличавшей Екатерину Алексеевну, когда она была еще великой княгиней, казалась почти нетронутой годами, пронесшимися с той поры над ее головой, тогда как широкая одежда искусно скрадывала излишнюю полноту ее стана.

– Я поджидала вас, Григорий Александрович, – произнесла она, протягивая вошедшему руку. – Мне интересно послушать о героических подвигах моих войск, сражавшихся под вашим предводительством против турок. Садитесь ко мне; я очень интересуюсь вашими рассказами!

Потемкин поспешил к ней; он прижался губами к ее руке, после чего, опустившись на колена на мягком ковре, сказал:

– Здесь, у ног моей милостивейшей императрицы, мое настоящее место. Отсюда буду рассказывать я ей о том, что совершили ее храбрые войска для ее славы и для отечества, если

только, – прибавил он, заглядывая прямо в глаза Екатерины Алексеевны своим пламенным взором, – вид моей повелительницы, которая в то же время есть царица всяческой красоты и грации, как и императрица всяческой власти и великолепия, не смутит ясности моего ума и я буду в силах привести в порядок свои мысли и выразить их.

Он все еще не выпускал пальцев государыни; широкие рукав ее шелковой одежды откинулся, обнажив стройную руку.

Губы Потемкина тотчас покрыли ее жаркими поцелуями; Екатерина Алексеевна не противилась этому.

– Попробуйте все-таки, Григорий Александровичу – улыбаясь, сказала она, – величие императрицы должно не ослеплять и страшить преданных мне людей, но освещать и согревать их; тот же, кто, подобно вам, принимал такое важное участие в великолепных победах Румянцева, конечно, сумеет найти слова, чтобы рассказать о них своей милостивой и благодарной государыне.

Лицо Потемкина омрачилось; он выпустил руку императрицы и, с неудовольствием качая головой, промолвил:

– Победы Румянцева бесспорно великолепны и славны и я горжусь тем, что сражался под его начальством и с ним вместе; но что является плодом этих побед, каков он будет! Клокочок земли, горсть новых подданных и мимолетная слава, которая скоро рассеется, не оставив по себе следа. Конечно прекрасно и великолепно сражаться и умирать во славу своей императрицы, если то суждено, но еще прекраснее и великолепнее употребить свою силу на то, чтобы повелительницу, которой принадлежат наша любовь и наша жизнь, вознести высоко над всяким величием прошедшего, настоящего и будущего, воздвигнуть Олимп у нее под ногами и украсить ее чело лучезарным венцом бессмертия.

Екатерина Алексеевна казалась несколько озадаченной таким оборотом разговора. Она вопросительно посмотрела на своего генерал-адъютанта, точно не понимая его слов.

– Что хотите вы сказать этим, Григорий Александрович? – спросила она. – Разве лавры недостаточно увенчивают мои знамена и, – гордо прибавила она, – неужели времени удастся изгладить имя Екатерины Второй со скрижалей истории?

– Нет, моя всемилостивейшая императрица, – возразил Потемкин, – нет, времени не удастся сделать это и имя Екатерины неизгладимо займет свое место в ряду великих правителей нашего государства и всей Европы. Но для меня этого недостаточно, – воскликнул он, вскакивая и простирая свою руку над головой императрицы, – это не может, не должно удовлетворять также и вас! Не в ряду прочих следует вам стоять, хотя бы то были величайшие люди всех времен и всех народов. Нет, имя Екатерины должно стоять высоко, недостижимо высоко надо всеми – над Цезарем и Августом, над Карлом Великим, которого остаривают друг у друга немцы и французы, и над всеми более мелкими величиями позднейшего времени.

Екатерина Алексеевна, любуясь, посмотрела на героя, выпрямившегося пред нею во всей своей атлетической силе, с простертой могучей рукой, словно он хотел схватить ею звезды с неба и собрать их в блистающую диадему для ее чела.

– С вашей стороны весьма похвально, Григорий Александрович, – сказала она, – что вы мечтаете вознести славу своей императрицы, своей благодарной приятельницы высоко над великими именами всех времен; но такое величие не суждено ни единому человеку, потому что на такой высоте царить только Бог; ни единый смертный не достаточно велик для того, чтобы после него или одновременно с ним другой не мог превзойти его земным величием или сравняться с ним в этом.

– Нет, нет! – воскликнул Потемкин, – пусть это применимо ко всякому земному величию, но не применимо к моей великолепной и высокой повелительнице, императрице святой Руси, которая, опираясь на юную, как весна, силу могучего, верного народа, призвана и предназна-

чена Божией благодатью совершить то, чего не совершал до нее никто и не смог бы совершить после нее.

– А что бы такое это было? – полюбопытствовала императрица, взор которой с восторгом остановился на горевшем воодушевлением, просветленном лице Потемкина.

Он помолчал немного, точно подыскивая ясное выражение для своих мыслей, после чего произнес:

– Что было основано могучею рукою Цезаря, устроено светлым умом Августа, что было воздвигнуто победоносной мощью Карла Великого, то распалось и развеялось прахом, потому что опиралось на земную, преходящую силу единичного человека. Но то, к чему должна стремиться моя императрица, то, что создаст она, как громко подсказывает мне внутренний голос, останется незыблемым во веки веков, потому что будет основано не на преходящей силе одной человеческой жизни, но на вечных законах, по которым Провидение управляет народами. Те мировые царства былых времен разрушились, потому что были приспособлены лишь к древнему миру, потому что они стремились спаять воедино несогласные племена, и не обладали твердым оплотом против молодой, всепокоряющей народной силы, которая вторглась в них с Востока, равно как и против диких варваров, которые, глумясь над всяким порядком, хлынули из степей на разрушение искусственного государственного строя. Но дело, предназначенное Богом моей императрице, не должно страшиться подобных опасностей. Екатерина Вторая держит юную народную силу России, которой ничто не может противиться, в своей собственной руке; ее скипетр простирается над Азией и Европой; сила, некогда разрушившая древние государства, покорно лежит у ее ног. Только одного недостает ей еще, чтобы основать прочное мировое владычество на порядке, справедливости и свободе. Это ключ к вратам, соединяющим Азию и Европу, Восток с Западом, а именно прекрасной Византии, которую римские императоры с мудрой проницательностью избрали седалищем мирового господства, но не сумели удержать в своей власти, и которую ослабевшая сила дряхлой Европы не могла отнять обратно у турок.

– Византии? – воскликнула Екатерина Алексеевна, вскакивая и кладя руку на плечо Потемкина.

– Да, – подтвердил тот, – Византии! Одна Россия, предводительствуемая своею императрицей, достаточно сильна, чтобы изгнать турок из древнего обиталища греческой культуры и на юношеской, непобедимой мощи русского народа воздвигнуть вновь древний трон всемирного владычества, которое соединить Азию и Европу. Наш русский народ удержит мировое царство за собою даже и тогда, когда закон природы, непреложный для всех смертных, коснется главы моей великой государыни! И тогда, когда эта цель будет достигнута, имя Екатерины засияет на недосыгаемой высоте над историей и всякое величие прошедших времен померкнет пред ним, а всякое величие будущего послужит лишь к тому, чтобы возвысить его блеск. Вот, – прибавил Потемкин, глубоко переводя дух и словно очнувшись от сна, – вот что уже давно, внутреннее пламя, ношу я в своем сердце и что до такой степени порабощает и наполняет мой ум, что даже теперь я нашел слова для выражения моего желания. Хотя мои мысли путаются от пылкого упоения при виде моей прекрасной, милостивой императрицы, которая в чарующей прелести, с какою обвивает ее пояс Афродиты, заставляет забывать о страшном щите Эгиды, гибельным ужасом поражающем дерзкий взор, осмелившийся в страстном томлении подняться на владычицу мира.

Он снова опустился, на колена, прижал руку Екатерины Алексеевны к своим горячим устам и смотрел на нее пылким взором.

Государыня склонилась к нему головой и заговорила тихим голосом, задумчиво заглядевшись на него:

– Не для тебя, мой друг, должна голова Медузы на щит императорской власти свивать своих грозных змей. Ты разгадал императрицу в глубочайших тайниках ее сердца; ты облек в

слова заветную мысль, которая шевелилась на дне моей души, но которую я никогда не осмеливалась высказывать, потому что никто не понял бы ее, никто не проникся бы ею с мужеством веры, с воодушевленным доверием. Но ты, мой друг, почерпнул эту мысль в своем собственном сердце, ты понял свою императрицу, прежде чем она открыла свои уста, и никогда не забудет этого твоя приятельница. Ты должен носить мой щит на своей руке; твоя рука должна действовать моим мечом, возле тебя хочу я стремиться вперед по тому пути, который я видела пред собою в заветных, тайных мечтах и который должны открыть мне в действительности твое смелое мужество и твой гордый ум!

– А в конце этого пути, – воскликнул Потемкин, – возвышается храм бессмертия и над ним сияет пламенными звездными письменами: «Екатерина, императрица Византии, владычица мира!»

– И благодарная приятельница своего гордого героя, – прошептала Екатерина Алексеевна, – своего великолепного бога войны, которому она подносить в дань благодарности щит Паллады и пояс Афродиты.

С ликующим возгласом прижал ее Потемкин к своей груди: он чувствовал, как любящая женщина прильнула к нему, но в то же время знал, что держит в своих объятиях и императрицу, а вместе с нею и власть, и господство.

Глава 5

Великий князь Павел Петрович, по возвращении с парада, тоже удалился в свои покои, расположенные в боковом флигеле Зимнего дворца; после отбытия императрицы никто не заботился о наследнике престола, который, по человеческим расчетам, стоял еще далеко от власти и даже не имел никакого влияния на текущие государственные дела. Вся свита непочтительно разбрелась во все стороны и только непосредственно стоявшие возле него распрошались с ним поклоном; но и в этом беглом, равнодушном поклоне ясно сказывалось, какую незначительную цену при дворе императрицы придавали благосклонности ее сына, которому, по старинным, правда, уничтоженным Петром Великим законам, принадлежала всероссийская корона.

Хотя государыня строго приказала, чтобы при каждом случае ее сыну воздавались почести, подобающие его положению, и сама настойчиво следила за точным исполнением предписаний этикета при всех официальных торжествах, придворные все-таки хотели лучше заслужить упрек в недостаточном внимании к установленному церемониалу, чем в чрезмерной почтительности к наследнику низвергнутого императора Петра Третьего.

В свою очередь, и великий князь, робкий и подозрительный характер которого еще более обострился после насильственной, трагической и окруженной мраком катастрофы, отнявшей власть и жизнь у его отца, испытывал тяжелое, горькое чувство при каждом недостатке почтительности, вследствие чего при своем появлении и уходе он избегал раскланиваться с придворными, боясь встретить равнодушное или, по крайней мере, недостаточно почтительное отношение с их стороны.

В этот день он удалился еще поспешнее, чем обыкновенно, совсем не попрощавшись ни с кем. Он шел быстрым, привычным ему, торопливо-неуверенным шагом, направляясь по обширным коридорам к своему помещению в боковом флигеле дворца. Он так торопился и так был погружен в свои мысли, что даже не отдавал чести караулу, что он обыкновенно не позволял себе никогда.

Пред входом в его покои стояли два гренadera Павловского полка, которые, согласно тогдашнему регламенту, отдали ему честь, вытянув правую руку с ружьем, взятым ниже штыка.

Великий князь никогда не проходил мимо этого караула, не оглядев обмундирование и вооружение часовых. При этом он самым тщательным образом подвергал осмотру каждую пуговицу и каждому солдату выражал свое удовольствие и одобрение, когда находил все в порядке, но также делал выговор и налагал строгие наказания, если находил какие-нибудь упущения против установленных правил. Но в этот день он быстро прошел и пред этим караулом, не удостоив его ни одним взглядом, и он был уже в своих комнатах, когда его догнал граф Андрей Кириллович Разумовский, весь запыхавшийся.

Комната, в которую вошел великий князь, представляла собой большое, светлое помещение, поразительно отличавшееся своей простотой от общего великолепия, господствовавшего во всем дворце. Великий князь, казалось, наследовал военные наклонности от отца, который, еще живя при дворе императрицы Елизаветы Петровны, устраивал битвы и осады с игрушечными солдатами. Также и у Павла Петровича на широких полках, прикрепленных к стенам, виднелось множество фигурок величиною в пять-шесть дюймов, с восковыми лицами и с артистически сделанными мундирами и оружием, но эти куклы в виде солдат не служили для военных упражнений и маневров, как это было при Петре Федоровиче, это были скорей образцы форм всех полков русской армии, начиная с гвардейцев в их блестящем вооружении и доходя до простых казаков с их пиками и папахами и киргизов в их фантастических восточных костюмах. Точно так же здесь можно было найти модели форм прусской, австрийской и шведской армии, и великий князь с величайшей заботливостью следил за всеми мельчайшими измене-

ниями в форме иностранных солдат, даже если оно замечалось в каком-нибудь кантике или звездочке, о чем послы его августейшей матери постоянно должны были сообщать ему. На большом столе посредине комнаты были разложены планы и карты, возле лежали раскрытые книги, служившие доказательством, что Павел Петрович усердно готовился к своей будущей роли повелителя России, хотя это время было от него еще далеко. Но, насколько его отец ненавидел и отвергал все русское, в особенности русский язык, настолько молодой великий князь, наоборот, с особой любовью причислял себя к русскому народу, которым он впоследствии должен был управлять; почти все книги, лежавшие раскрытыми на его столе, были написаны на русском языке или переведены на него, а затем даже и в большом шкафу, около стены, виднелось тоже лишь очень немного произведений французских и английских авторов. Несколько широких кресел стояли в нишах больших окон, занавески которых были широко раздвинуты. Остальную меблировку составляли лишь простые деревянные стулья, и единственной роскошью в этой комнате великого князя, которому его высоко даровитая мать готовила блестящее наследство, были шкуры медведей, убитых на охоте самим Павлом Петровичем, и других редких степных животных, принесенных в дар русскому двору его азиатскими подданными. На стене висел большой портрет императора Петра Первого, изображенного на кронштадтском бастионе с распростертой рукой по направлению виднеющегося в дали флота, созданного его могучей волей. В некотором отдалении от портрета великого основателя российского государства висело, в раме из черного дерева, прекрасно исполненное изображение императора Петра Третьего во весь рост.

Этот несчастный государь, который так мало походил на своих предков, для которого избрание в наследники русского престола стало столь роковым и который, как бы в печальном предвидении предстоявшей ему судьбы, всю жизнь питал в своем сердце страстное тяготение к своей родине, был изображен на портрете в голштейнской форме, со звездой прусского Черного Орла рядом с орденом Андрея Первозванного. Эта комната его сына была единственным местом во всем дворце, где его портрет дерзали повесить. Никто другой не посмел бы выказать такое внимание к его памяти. Правда, не было недостатка в нашептываниях, старавшихся выставить это почтение сына к усопшему отцу, как признак недостаточной почтительности и любви к государыне; но сама Екатерина Алексеевна, увидев в одно из своих посещений наследника этот портрет низвергнутого ею супруга, ни единым словом не выразила своего неодобрения или желания, чтобы его убрали. Таким образом, портрет остался на месте и был постоянно украшен венком из иммортеллей. И часто великий князь со сложенными руками долго смотрел на своего отца, словно хотел в его бледном, скорбном лице прочесть решение загадки, окутавшей тайный конец его царствования и жизни, а большие, печальные глаза государя, в свою очередь, как бы спрашивали, не готовит ли судьба его сыну столь же трагической участи.

Войдя в свою комнату, великий князь быстро сбросил с себя шляпу и шпагу и, в изнеможении от усиленной ходьбы опускаясь на мягкий стул, воскликнул:

– Пойди скорее в приемный зал, Андрей Кириллович! Там садовник ежедневно наполняет вазы живыми цветами; выбери из них самые красивые, самые красивые, слышишь? И принеси их сюда.

– Слушаю, ваше императорское высочество, – с удивлением сказал граф Разумовский. – Но я, в сущности, не понимаю; я никогда не замечал, чтобы вы, ваше императорское высочество, так любили цветы.

– Я и не люблю их, Андрей Кириллович; я предпочитаю деревья, которые стоят прямо, стойко, как исправные солдаты, и с которыми ветер не может играть. Но, видишь ли, мы – мужчины, мы – солдаты; нам подходит то, что по правилам и в порядке растет прямо вверх; но дамы – их элемент цветы, которые так же нежны, легки и гибки, как они сами; вследствие этого дамы любят цветы, и принцесса Вильгельмина больше всех; она сама мне сказала об этом.

Разумовский, слегка вздрогнул, вопросительно посмотрел на великого князя, затем низко поклонился и сказал:

– Иду исполнить приказание вашего императорского высочества.

Великий князь, оставшись один, быстро и беспокойно прошелся несколько раз по комнате, вытирая платком свой горячий лоб.

– Да, – сказал он, – да, на ней я остановлю свой выбор! Она горда, смела и мужественна, она совсем иная, чем ее сестры, с которыми я не могу сказать ни слова. Она будет поддерживать меня, ободрять меня, когда на меня нападет робость, с которой я часто не могу справиться... Да, мое решение принято, не буду более колебаться. Государыня желает этого; она поймет, что ее сын – более не ребенок, когда он будет иметь свое собственное семейство... У меня будет свой двор, я буду господином в моем доме, да, по крайней мере, в своем доме господином, – добавил он с горечью, – так как иначе я нигде не могу быть господином в этой стране моих предков... И у меня не будет больше воспитателя и указчика, когда у меня будет жена... Я люблю этого славного Панина, он предан мне и был бы готов отдать за меня свою жизнь, но мне уже двадцать лет и я мог бы, в конце концов, возненавидеть своего доброго друга, если бы он еще дольше остался моим воспитателем.

Граф Разумовский вернулся обратно; он принес большую серебряную вазу, наполненную всевозможными цветами.

– Вот, ваше императорское высочество, – сказал он, смеясь, – я думаю, этого будет достаточно; я обобрал все вазы и вынул из них самые красивые цветы.

– Дай сюда, дай сюда! – живо сказал Павел Петровичу – я хочу послать букет принцессе Вильгельмине. Ты снесешь его ей, так как этикет запрещает мне идти самому; но, – продолжал он, нерешительно и безрезультатно перебирая цветы в вазе, – как нам это сделать? Ты не можешь нести ей все эти цветы; мы должны составить нечто красивое, нечто полное значение, а этого я не умею. Я слышал однажды, что цветы имеют свой собственный язык; арабы пишут друг другу письма, выражая свои мысли названиями цветов; не слышал ли ты чего-нибудь об этом? Теперь был бы случай воспользоваться этой речью цветов.

– А что хотелось бы вам, ваше императорское высочество, выразить на этом языке? – спросил Разумовский.

– Я хотел бы сказать ей, – оживленно воскликнул Павел Петрович, – что люблю ее... – он остановился. – Люблю ли я ее, – продолжал он, – этого я совсем не знаю; мою бедную маленькую Соню я любил иначе; она была ребенком, с которым я резвился, и ее кроткие, ясные глаза оставляли меня спокойным. Я был огорчен, когда моя мать отослала ее отсюда, сказав мне, чтобы я больше не смел видаться с ней, так как должен выбрать себе супругу; я отнесся к этому разумно; ведь она не могла оставаться у меня; она будет счастлива, если, поплакав немного, вскоре утешится и забудет обо всем. Но зато взгляд принцессы Вильгельмины, – воскликнул он, причем, его глаза заблестели, – не оставляет меня спокойным и тихим, он заставляет мое сердце биться сильнее. Под влиянием беспокойного порыва я хотел бы броситься в свет, чтобы сделать для нее что либо, и, если бы она стала моей, я не расстался бы с ней, как расстался с маленькой Соней; я держал бы ее крепко и защищал бы против целого мира!

– Ну, ваше императорское высочество, – ответил на это Разумовский, – если дело обстоит так, то ваши преданнейшие слуги вскоре будут иметь новую повелительницу.

– Они будут ее иметь, Андрей Кириллович, – сказал великий князь, – они будут ее иметь!.. Но теперь эти цветы, как мы это сделаем?

Разумовский в раздумье посмотрел на разбросанные цветы и сказал:

– Вот, ваше императорское высочество, эта полураспустившаяся роза изображает принцессу!

– Совершенно верно, совершенно верно! – воскликнул Павел Петрович, – но все же роза слишком хрупка, нежна; ведь принцесса более жизненна, более смела, горда.

– Мы окружим эту розу, – продолжал Разумовский, – свежей зеленью; это будет надежда, которая в своем страстном порыве приближается к ней.

Павел Петрович одобительно кивнул головой.

– Под розу, – сказал Разумовский, – мы положим эти гранатные цветы; это будет любовь, которая через зелень – надежду – стремится к ней вверх.

– Совершенно верно, совершенно верно! – воскликнул великий князь, со счастливым видом хлопая Разумовского по плечу.

– Теперь, – продолжал тот, – мы окружим букет всевозможными пестрыми цветочками; они будут символом богатого счастья, которое будущее готовите юной розе; а эти цветочки, – продолжал он, – мы обовьем лентой. Да, ваше императорское высочество, ленту-то я и позабыл; где мы возьмем ленту? Я позову камердинера.

– Нет, нет, – воскликнул великий князь, – это очень сложно и возьмет слишком много времени. Вот, – сказал он, снимая с шеи орден святой Анны и отделяя ленту от креста, – возьми эту ленту, она более всего подойдет юной розе, которой теперь я могу положить к ногам только Голштинию, пока...

Он остановился и боязливо осмотрелся кругом, словно боялся, что его могли тайно подслушать.

Разумовский перевязал цветы голштинской лентой, а затем великий князь нетерпеливо стал торопить его скорее идти к принцессе и приказал ему тотчас же вернуться к нему, как только он исполнит его поручение.

– Да, это, несомненно, – воскликнул Павел Петрович, прижимая к своему сердцу обе руки, – я люблю Вильгельмину!.. Так горячо еще никогда не билось мое сердце, я чувствую себя бодрее и крепче в ее близости... О, как она была хороша, когда скакала на лошади около меня и ветер играл ее локонами!

Как бы под влиянием счастливого воспоминания, он вскинул взор кверху и тот упал на портрет его отца. Великий князь вздрогнул, на его лицо пали мрачные тени.

– И ты также, мой бедный отец, – сказал он, – любил когда-то, как и я; мне сказали, что любовь определила выбор, который ты должен был сделать... Моя мать, несомненно, была очень красива, если теперь еще она так хороша, – добавил он с горечью. – И куда, бедный, предательски свергнутый государь, привел тебя твой выбор? Вильгельмина – также немецкая принцесса; она также прекрасна, смела и жизнерадостна; почему бы и ей когда-нибудь в своем нетерпеливом честолюбии не протянуть руки к короне, украшающей голову ее супруга?

Его лицо становилось все мрачнее; склонив голову на грудь, он долго стоял, погруженный в тяжелые мысли, причем его губы глухо шептали тихие слова.

– Нет, нет, – сказал он затем, дико потрясая головой, – прочь от меня, мрачные демоны, прочь от меня! Пусть ужас прошедшего скроется в глубине ваших бездн! Оставьте мне солнечный свет юной жизни! Нет, нет, если правда – то, что вы нашептываете мне в бессонные ночи, то такое страшное может случиться только раз. Тысячелетия прошли с тех пор, как преступная рука Клитемнестры предала убийцам Агамемнона; так скоро природа не может повторять ужасы, требующие появления мстительниц фурий из преисподней ада. Прочь от меня, ужасные видения, стоящие между кровавой памятью отца и матерью – матерью, которая носит корону, по старинному праву принадлежащую мне!.. Но она уже сделала для величия России более чем мог бы сделать я со своей слабой юношеской силой.

Для России я откажусь от всякой мечты своего раннего честолюбия, но в будущем обещаю посвятить ей все силы моего зрелого разума. Мой бедный отец сделался жертвой злого рока потому, что не понимал Россию и не был в состоянии научиться любить ее; я же люблю Россию и хочу научиться понимать ее, а Вильгельмина, к которой стремится мое сердце, должна укрепить и воодушевить меня к великому призванию моего будущего.

Он отвернулся от портрета отца, словно хотел прогнать мысли, которые тот вызвал в нем, а затем опустился на диван и мечтательно откинулся на его подушку.

Ландграфиня Гессенская вместе с дочерьми, в сопровождении графа Панина, вернулась в блиставшее роскошью помещение, которое было предоставлено в ее распоряжение императрицей.

На принцессе Вильгельмине был еще запыленный костюм для верховой езды, в котором она присутствовала на параде. Она лежала на диване, окруженном редкими растениями, и казалась погруженной в мечтания. Но эти мечтания вероятно рисовали ей восхитительные картины, так как счастливая улыбка играла на ее губах, а гордая радость светилась во взоре, когда она встала, чтобы пойти навстречу матери.

– Как ты разгорячилась, дитя мое! – озабоченно и укоризненно сказала ландграфиня. – Было большой неосторожностью ехать верхом, подвергаясь влиянию солнца и пыли; притом мне кажется не совсем приличным, когда молодая принцесса показывается народу в виде амазонки.

– Ведь императрица также ехала верхом, – возразила принцесса Вильгельмина, – а императрица никак не может сделать что либо, что неприлично для принцессы.

Испуганная ландграфиня, как бы невольно почтительно склоняясь, возразила:

– Ее величество императрица – великая правительница, которая может делать все, что хочет, для которой все прилично, и с твоей стороны слишком смело сравнивать себя с государыней; мне было очень неприятно, что ты испросила у ее императорского величества разрешение сопровождать ее, не сказав мне ничего об этом; ты сама будешь виновата, если это не понравилось также и его императорскому высочеству и если он нашел поведение твоих сестер более подходящим и достойным того высокого положения, к которому могут быть призваны судьбой принцессы вашего происхождения...

– А между тем, – вмешалась в разговор одна из сестер, – у Вильгельмины гораздо больше причин не подвергаться влиянию солнца и ветра, чем у нас: ее цвет лица всегда был несколько неровным, а теперь он действительно стал совсем темным от загара.

– Ну, что же, – заметила ландграфиня, – она сама будет терпеть последствия своей неосторожности!.. Я жалею только, что ее легкомысленное и слишком свободное поведение может бросить дурной свет на нравы, господствующие при нашем дворе, так как это могло бы также повредить и вам. Прошу вас, любезный граф, – сказала она, обращаясь к Панину, – уверить его императорское высочество, вашего августейшего воспитанника, что мои дочери не привыкли в ветер и непогоду ездить верхом, как принцесса Вильгельмина сделала это сегодня; я воспитала их в строгой сдержанности, приличествующей их положению, и обе эти принцессы всегда будут делать честь моему воспитанию, на какую бы ступень ни возвела их воля Провидения.

При этом похвальном отзыве обе принцессы, краснея, стыдливо потупились, а Вильгельмина насмешливо пожала плечами.

Граф Панин склонился с тонкой улыбкой на губах и не ответил ни слова.

Вошел паж и доложил, что граф Разумовский, по поручению его императорского высочества великого князя, просит ее светлость принцессу Вильгельмину принять его на несколько минут.

Обе ее сестры с удивлением посмотрели на графа Панина. Тот, улыбаясь, взял шепотку из своей табакерки. Принцесса Вильгельмина с важностью королевы гордо выступила вперед и, не ожидая разрешения ландграфини, бывшей не менее удивленной, чем ее дочери, подала пажу знак ввести Разумовского.

Граф Андрей Кириллович вошел с букетом в руках и, сначала низко поклонившись принцессе Вильгельмине, а затем уж ландграфине и двум другим принцессам, сказал:

– Его императорское высочество, мой всемилостивейший повелитель, желает выразить свою благодарность светлейшей принцессе, столь милостиво пожелавшей принять участие в

торжестве парада русских войск, за ее любезный разговор, которым она его очаровала. Его императорское высочество не нашел лучшего выражения своей признательности, как эти свежие, душистые цветы, которые я, по приказанию его высочества, передаю вашей светлости.

– Как его императорское высочество любезен! – сказала принцесса, краснея от радости, между тем как Панин вторично запустил пальцы в свою табакерку. – И как красивы эти цветы! – добавила она, принимая букет из рук Разумовского.

– Великий князь сам выбрал их, – ответил граф. – Если я осмелюсь выразить словами его мысль, то в этой юной розе он видел образ одной светлейшей принцессы, которая своей прелестью и свежестью превосходит королеву цветов; у ее ног распустилась любовь в виде красных гранатных лепестков, а надежда, в образ зеленых листочков, в своем страстном порыве стремится вверх к розе; кругом в пестрых, роскошных красках цветет счастье, которое уповающая любовь ждет от будущего.

Еще ярче выступила краска на щеках принцессы Вильгельмины, тогда как обе ее сестры побледнели, сжав губы. Но граф Панин несколько раз сочувственно кивнул головой, а его лицо выражало, что он вполне одобрил все сказанное по поручению великого князя.

– Его императорское высочество, – продолжал Разумовский, – перевязал эти цветы благородной лентой герцогского голштейнского ордена; если бы у него было достаточно времени попросить об этом свою августейшую мать, я уверен, он прибавил бы сюда еще и ленту ордена святой Екатерины.

– Я благодарю великого князя за его любезное внимание, – ответила принцесса Вильгельмина. И прошу вас рассказать ему, какую большую радость он доставил мне своим душистым подарком. Сегодня вечером, у ее императорского величества, я лично поблагодарю его и скажу, как искренне я желаю исполнения всех надежд, так остроумно выраженных в этих зеленых листочках. Но, – продолжала она с некоторой нерешительностью, – и посланец, пришедший мне этот душистый дар, заслуживает моей благодарности и награды за исполненное поручение. Эти пестрые цветочки обозначают счастье будущего; да дозволено мне будет в символе этих цветов дать вам залог счастья для вас...

Она вынула из букета один из пестрых цветков и протянула его графу.

Пораженный радостью, слегка склонив колено, тот принял цветок; его дрожащая рука коснулась руки принцессы, их взоры встретились, темная краска выступила на его лице и словно нашла отражение на щеках принцессы.

Вильгельмина потупилась и как бы погрузилась в созерцание букета, бывшего в ее руках, пока Разумовский с почтительным поклоном и, отступая назад, откланивался ландграфине.

– Ну, что моя милостивейшая мамаша? – сказала принцесса Вильгельмина, – видно, великий князь не нашел моего появления на лошади не подходящим и ваши опасения за мой цвет лица были напрасны, если его императорское высочество милостиво, в незаслуженно лестной для меня форме сравнил меня с этим нежным бутоном розы.

Ландграфиня бросилась к принцессе Вильгельмине; заключила ее в свои объятия и нежно поцеловала.

– Любовь матери, дитя мое, – сказала она, – иногда преувеличивает заботы, но это самое преувеличение и служить доказательством той любви, которую я всегда прежде всех дарила тебе! Конечно, я могла бы быть покойна, зная твой такт, позволяющей тебе всегда находить верный тон; я знаю, что ты всегда делала честь моему воспитанию, даже, когда твои сестры иногда легкими отступлениями вызвали мои замечания, – добавила она со взглядом, полным упрека, в сторону двух остальных принцесс, которые удалились в угол комнаты и тихо разговаривали между собой, причем их лица и взоры ясно говорили, что участливое отношение к успеху их сестры не было предметом их беседы.

– Желаю вашей светлости много счастья, – сказал Панин, причем почтительно, но вместе с тем с некоторой отеческой сердечностью поцеловал руку принцессы Вильгельмины, – и

радуюсь, что великий князь, мой августейший воспитанник, сумел так верно узнать и оценить ваши превосходные качества. Я убежден, что надежды, выраженные этими зелеными листочками, оправдаются на счастье двух благородных сердец и на благо великого народа! Я поспешу к моему августейшему воспитаннику, чтобы перевести душистую символику этих цветов на дипломатически язык.

Он поцеловал руку принцессы и откланялся пред ее матерью и сестрами, согласно всем правилам этикета.

– Пойдем, дитя мое, пойдем! – воскликнула ландграфиня, когда граф Панин покинул комнату, – пойдем ко мне!.. Нам предстоит много дела, чтобы приготовить твой туалет к вечеру государыни императрицы; я вполне доверяю твоему вкусу, но все-таки советы любящей матери никогда не мешают.

Насмешливая улыбка провожала по губам принцессы, но она последовала за матерью, которая поспешно удалилась с ней, вовсе не обращая внимания на двух других дочерей, только что выставленных ею, как пример и образец для подражания.

Обе принцессы остались одни и имели достаточно времени, чтобы обменяться недоброжелательными замечаниями по поводу незаслуженного, по их мнению, счастья сестры.

Глава 6

Мраморный дворец, расположенный на набережной Невы, между Зимним дворцом и Марсовым полем, был в то время окончен только в своей основной постройке, причем в самом скором времени имелось в виду сооружение флигелей и устройства сада.

Императрица Екатерина Алексеевна подарила этот дворец фельдцейхмейстеру Григорию Григорьевичу Орлову и над входом этого великолепного, поистине царского подарка велела поставить простую надпись: «Сооружение благодарности».

Постройка была выполнена из мрамора, гранита и бронзы, а оба верхние этажа блистали красотой исключительно финляндского и сибирского мрамора. Вся постройка, из-за нагромождения каменных глыб, носила массивный, мрачный характер, но внутри всюду виднелся благородный, чистый, артистически воспитанный вкус, которым отличались все творения императрицы.

Картины и пластические произведения искусства лучших мастеров украшали галерею, а лучшие торговый фирмы Парижа и Лондона доставили всю обстановку комнат, так что это даже неоконченное строение было подарком, который едва ли кто либо из могущественнейших и богатейших государей Европы мог презентовать своему любимцу.

Пред входом во дворец стоял двойной караул Преображенского полка, и многочисленная стража того же полка, в котором когда-то Григорий Григорьевич Орлов служил поручиком и которому он постоянно оказывал свое покровительство, занимала почетный караул во дворе дворца.

Сюда прискакал Григорий Григорьевич Орлов, после того как проводил императрицу до Зимнего дворца. Его брат, адмирал Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, сопровождал его и его многочисленная свита из адъютантов и ординарцев производила впечатление целого отряда кавалерии.

Как вихрь промчался по улицам этот блестящий отряд; низко кланялись редко встречавшиеся горожане всесильному фавориту императрицы. Но Григорий Григорьевич, который, несмотря на свою заносчивость с высокопоставленными лицами двора, постоянно стремился приобрести и увеличить свою популярность в народе, не обращал внимания ни на один почтительный поклон. Он мрачно смотрел вниз пред собой и от времени до времени нетерпеливый удар хлыстом заставлял подниматься на дыбы его взмыленную лошадь. Перед главным входом в Мраморный дворец он соскочил с седла, бросил поводья своему шталмейстеру, отпустил состоявших при нем офицеров и только со своим братом Алексеем поднялся по широким ступеням лестницы. Казалось, словно эти массивные ступени, с тяжеловесными бронзовыми перилами, и громадные коридоры, с высокими сводами, были сооружены специально для этих двух богатырских фигур, тяжелые, звенящие шаги которых гулко раздавались среди мраморных стен.

Григорий Григорьевич поспешно открыл дверь из позолоченной бронзы, которая вела в его комнату, прежде чем почтительно ждавший пред ней лакей успел исполнить свою обязанность, и вошел со своим братом в высокое помещение, темные мраморные стены которого были задрапированы пурпурной бархатной материей, так что комната, несмотря на большое, светлое окно, производила странное, мрачное впечатление.

На стене, в великолепной раме, висел артистически написанный портрет императрицы Екатерины Алексеевны во весь рост: кругом на черных мраморных подставках стояли бюсты Александра Великого, Цезаря и знаменитейших героев и полководцев греческой и римской истории.

Григорий Григорьевич любил выказывать особенное восхищение к античному героизму и радовался, когда из-за его силы, смелости и откровенности его сравнивали с древними гре-

ками и римлянами. Однако нужно сказать, что, за исключением доходящей до безумия смелости, он не обладал другими добродетелями античных героев, а откровенность и правдивость, которыми он часто гордился, были только до грубости доведенной непочтительностью, которую он умел соединять с самым искусным притворством, причем пользовался этим, как средством скрыть свои настоящие мысли.

На широком письменном столе из черного дерева в хаотическом беспорядке лежали письма, прошения, военные приказы и планы крепостей. Драгоценная мебель из черного дерева с золотой инкрустацией и с пурпурной шелковой обивкой в таком же беспорядке была расставлена по всей комнате. И в удивительном контрасте с этой блестящей, княжеской роскошью поблизости к окну, на простой подставке лежал матрац из конского волоса, обтянутый обыкновенной парусиной, совсем такой, как бывают в казармах. На этот матрац, носивший следы частого употребления, был брошен широкий тулуп из овчин – такой, как обыкновенно носят русские крестьяне и солдаты вне службы.

– Принесите мне чего-нибудь напиться, – приказал Григорий Григорьевич Орлов камердинеру, причем гневно сдернул с себя орденскую ленту, снял мундир и швырнул все это в угол комнаты.

Пока он облачался в тулуп и располагался на своем парусиновом матраце, трещащем под тяжестью его могучего тела, два лакея внесли маленький стол и поставили его перед примитивным ложем своего барина. На этом столике находился большой серебряный жбан, дно которого было покрыто маленькими кусочками льда и который лакеи доверху наполнили шампанским. Около него поставили два серебряных кубка художественной работы и круглый хрустальный графин с индейским ромом, сильный аромат которого распространился по всей комнате.

Григорий Григорьевич наполнил оба кубка наполовину холодным шампанским, наполовину ромом, быстро с жадностью осушил один из них, а другой протянул брату. Когда он утолил свою жажду этим крепким напитком, а лакеи неслышными шагами удалились, он, опираясь на локоть, приподнялся и, устремив мрачно сверкавшие взоры на брата, заговорил гневным тоном:

– Ну, что ты скажешь о пресловутой благодарности нашей могущественной императрицы Екатерины Алексеевны? Разве она не пожирала своими жадными взорами этого несчастного Потемкина, точно хотела перед целым светом броситься ему на шею? Разве она не дерзнула, не спросив меня, меня – управляющего ее двором и ее военным штабом, назначить его своим адъютантом и поселить его во дворце? Разве недостаточно ясно, к чему это клонится? Она нашла мне преемника! – воскликнул он с язвительным смехом. – Ну, что же, быть может, и я мог бы найти ей его: то, что сработано самим, можно и разрушить; а создал все я! Мы – ты, мой брат, и я – соорудили тот трон, со ступеней которого Екатерина хочет столкнуть нас.

Но я также знаю лучше всех, в каком месте сгнили подпорки этого трона, я знаю, что одним натиском своей руки я могу разрушить его.

При этих словах он так крепко стиснул свою широкую мускулистую руку вокруг серебряного кубка, что тот погнулся на середине, подобно мягкому свинцу.

– Ты возбужден, Григорий, – сказал Алексей, пивший только маленькими глотками любимый напиток брата, – быть может, у тебя есть основание к этому, но, во всяком случае, не такое серьезное, как ты думаешь. Однако все-таки ты не прав, и если ты действительно предвидишь опасность, то гнев – самый худший советник...

– Но самый лучший союзник, когда дело идет о том, чтобы разрушить мое собственное творение и погрести под его развалинами неблагодарную! – воскликнул Григорий Григорьевич, при чем вновь выпрямил согнутый им кубок, наполнил его шампанским с ромом и снова залпом выпил все до дна.

Алексей Григорьевич, покачивая головой, возразил:

– Ты ошибаешься во всем, что говоришь, и именно потому, что тобой владеет гнев. Прежде всего, я должен тебе сказать, что было большой неосторожностью допустить Потемкина вновь приехать сюда; ты знаешь, что нам в свое время стоило немало труда удалять его, хотя тогда благодарность и любовь императрицы к тебе были еще совсем юны и свежи.

– Я совсем забыл о нем, – сказал Григорий Григорьевич надменным тоном, – разве я мог считать возможным, чтобы подобный соперник стал мне опасен?

– Я думаю, ты ценишь его слишком мало, – сказал Алексей Григорьевич, – и в этом кроется настоящая опасность, единственная, которую я могу усмотреть. По-моему, Потемкин – человек, обладающий мужеством, сильной волей и постоянством. Но в виду того, что ты уже сделал эту неосторожность, – продолжал он, пока Григорий Григорьевич злобно бормотал про себя какие-то слова и в различных формы сгибал, а затем снова выпрямлял свой кубок, – надо отнестись ко всему, как к совершившемуся факту, и суметь ловко обойти его. Не мог же ты ожидать, чтобы женщина с умом и темпераментом Екатерины не пожелала искать разнообразия в любви, тем более что ты сам не раз подавал ей к этому пример.

– Пустяки! – воскликнул Григорий Григорьевич, – какое мне дело до этого? Пусть она развлекается, как хочет! в разнообразии жизнь. Но что она выбрала как раз этого Потемкина, которого, как она отлично знает, я ненавижу. Что она осмеливается поднимать его до себя открыто перед всем светом и назло мне, – это доказывает мне, что дело идет не о простом увлечении, что она ищет не мимолетную забаву, но хочет сбросить с себя долг благодарности по отношению к тебе и мне... И горе ей, если мое подозрение окажется основательным!

– Успокойся, успокойся, – сказал Алексей Григорьевич, – твои угрозы нелепы, даже если бы ты мог их исполнить. Ступени трона Екатерины – опора нашей власти и, если бы мы разрушили этот трон, мы сами погибли бы под его развалинами. Великий князь Павел Петрович никогда не простит нам, что мы возвели на престол его мать, даже в том случае, если бы мы помогли ему возложить корону на его голову.

– Великий князь Павел Петрович? – прошептал про себя Григорий Орлов, – но есть еще другой наследник престола из династии Романовых...

– Ради Бога, замолчи! – испуганно воскликнул Алексей Григорьевич, – замолчи и брось такие сумасбродные мысли, который тебя и всех нас могут столкнуть в бездонные пропасти! Поверь мне, возвести Екатерину на престол было легче, чем свергнуть ее, после того как ее власть пустила такие глубокие корни и русское войско под ее знаменами одержало столько блестящих побед, Она – не Петр Третьей; она начала бы борьбу на жизнь и смерть и даже победа была бы нашей гибелью. Нет, нет, это – не путь к устранению внезапно всплывшей опасности, которая будет тем меньше, чем меньше мы будем раздувать ее. Не раздражай Екатерины! Она не потерпит власти над собой и ограничения своей воли; смотри на ее милость к Потемкину, как на легкое развлечение; ты этим легче всего достигнешь того, что она и сама будет смотреть на это так же. Не наводи ее сам на мысль сравнивать с тобой ее нового фаворита. Это – первая задача для тебя и для меня; мы должны выказывать любезность и уверенность по отношению императрицы, Потемкина и всего света, так как пока лишь мы сами можем поколебать наше положение, и никто другой, даже государыня, не посмеет коснуться его. Поверь мне, Екатерина благодарна из чувства и. из расчета; она знает, чем обязана нам и как еще теперь нуждается в нашей поддержке, а эта благодарность императрицы – лучшая опора для нас, чем страсть женщины к тебе. Пусть эта страсть охладает, любовь будет искать разнообразия, но наше положение будет еще крепче, если мы не будем нуждаться в этой слабой и шаткой опоре. Чем более мы будем выказывать спокойствия, любезности, уверенности, тем легче нам удастся уловить случай, чтобы снова отбросить в прежнее состояние ничтожества этого Потемкина, если бы ему вздумалось быть для императрицы больше, чем игрушкой для развлечения.

– Ты, быть может, прав, – сказал Григорий Григорьевич, не смотря на брата, – я последую твоему совету. Весьма возможно, что и сегодня уже я не сдержал себя, выказав свое неудо-

вольствие; весь двор снова должен увидеть меня веселым и спокойным, и сам Потемкин не испытает чувства удовлетворения от мысли, что я боюсь его.

– Так-то лучше! – сказал Алексей Григорьевич, – а я буду настороже, буду выслеживать и наблюдать, стараясь подкопать землю под его ногами, чтобы было достаточно легкого толчка, если бы, в виду его опасности для нас, пришлось повалить его.

– Еще одно, – сказал Григорий Григорьевич, – я показал тебе казака на плацу во время парада.

– В самом деле, – со страхом, побледнев, произнес Алексей Григорьевич, – сходство ужасающе поразительное; только казачья шапка и борода делают его менее заметным; такое лицо может сделаться опасным.

– Несомненно, – сказал Григорий Григорьевич, – и потому, прошу тебя, вели тотчас же, не теряя ни минуты, схватить этого казака и заключить его в особое помещение в крепости.

– А на что он может тебе понадобиться? – спросил Алексей Григорьевич. – Было бы жестокостью заставлять бедного парня страдать за эту игру природы.

– Прежде всего, – возразил Григорий Григорьевич, – никто не должен видеть его, особенно здесь в Петербурге, где все еще помнят Петра Третьего; сначала он должен быть скрыт за крепкими затворами, затем я выведу от него, знает ли он сам о своем роковом сходстве. Если нет, то его просто можно отослать в какую-нибудь далекую местность, где никто не знал покойного государя.

– Пойду скорей исполнить то, что ты сказал, – произнес Алексей Григорьевич, осушая свой кубок, – через час казак будет передан коменданту крепости со строгим приказом о том, чтобы никого не пропускать к нему и чтобы даже часовые у его дверей не видели его. Ты же следуй моему совету и, что бы ни случилось, старайся сдерживаться!..

Он пожал руку брата и вышел вон.

Григорий Григорьевич мрачным взором посмотрел ему вслед.

– Я последую его совету, – сказал он, – но он слишком доверчив. Он не знает Екатерины, он не знает, как я, какой способностью к притворству она обладает. Я последую его совету, но я также пойду своей дорогой и буду готовить свои средства, чтобы освежить благодарность Екатерины, если это понадобится, и дать почувствовать, как необходима для нее сильная рука, которая соорудила ей трон и которая одна только в состоянии поддержать его.

Он лежал, закутанный в свой тулуп, думая, размышляя и выпивая один за другим кубки того огненного напитка, который всякого другого привел бы в бесчувственное состояние, а на его гигантскую натуру не оказывал никакого вредного влияния.

В это время вошел камердинер и доложил, что купец Петр Севастьянович Фирулькин просит милости быть принятыми на несколько минут.

– Фирулькин? Что еще надо этому плуту? – воскликнул Орлов. – Но все равно, пусть войдет, мне в настоящее время нечего делать.

Фирулькин вошел. На нем был еще более поразительный и яркий костюм, чем утром; еще стоя у дверей, он сделал необычайно глубокий и почтительный поклон, который, вследствие стремлений Фирулькина казаться легким и элегантным, произвел такое комическое впечатление, что Григорий Григорьевич Орлов громко расхохотался.

– Знаешь ли, что ты кажешься необычайно смешным, старый плут? – воскликнул он; – Почему ты не носишь овчинного тулупа и шапки, как подобает настоящему русскому, и как я и сам это делаю? В сущности, ты заслужил бы, чтобы я отправил тебя в этом франтовском французском одеянии в Сибирь; там ты убедился бы, насколько лучше подходит к тебе шуба.

На минуту Фирулькин побледнел и с ужасом отступил назад; он отлично знал, что Орлов был из тех, кто может серьезно привести в исполнение такую случайную мысль, появившуюся у него под влиянием минутного настроения.

Но его вялое лицо снова быстро приняло свое обычное, сладко улыбающееся выражение и он, приблизившись на шаг, сказал:

– Ваша светлость! Я уверен, что вы изволите милостиво шутить с вашим преданным слугою. – Я счастлив тем, что в состоянии способствовать увеселению вашей светлости, и меня радует то, что мой высокий доброжелатель и покровитель находится в таком веселом расположении духа, так как в таком случае я могу надеяться, что маленький знак моей любви и почтения, который я хотел бы положить к ногам вашей светлости, найдет у вас ласковый прием. С последним караваном, пришедшим ко мне из Персии, – продолжал он, вынимая из кармана бархатный футляр, – я получил бриллиант, равного которому по чистоте воды и игре нет; а так как мне известно, что мой высокий и милостивый покровитель любит эти камни, то я осмелился приказать вставить этот бриллиант в кольцо и прошу вас, ваша светлость, милостиво соизволить принять его от меня.

Фирулькин раскрыл футляр и подал его князю, в униженно согбенной позе приблизившись к нему.

На темном бархате сверкал солитер чудесной красоты.

– В самом деле, – сказал Орлов, – камень красив! – Он взял футляр, небрежно надел кольцо на палец и, поводя рукой, стал наблюдать за переливающейся игрой граней. – В самом деле, бриллиант красив... но мал, – прибавил он.

– Если бы он был больше, – сказал Фирулькин, униженно согнувшийся пред постелью князя, – то я не был бы в состоянии положить его к вашим ногам.

– Это ты врешь, – сказал Орлов, продолжая благосклонно рассматривать камень, – ты порядочно отъедаешься на тех торговых привилегиях, которые достались тебе, и я уверен, что ты богаче и меня самого; мы когда-нибудь еще и поисследуем это... Все-таки что тебе нужно? – прибавил он затем, устремляя пытливый взгляд на Фирулькина. – Ведь тебе же непременно что-нибудь нужно, иначе ты не принес бы мне этого камня.

– О, ваша светлость, как вы несправедливы по отношению к своему всепреданнейшему слуге! Допустим, у меня есть просьба к вам, ваша светлость, но я должен, прежде всего, сделать донесение и высказать предостережение, к которому меня обязывает мое благоговение пред особою всемилостивейшей государыни.

– Донесение... предостережение, касающееся государыни императрицы? – живо спросил Орлов. – Что это значить?

– Я должен признаться вам, ваша светлость, – ответил Фирулькин, – что имею намерение обзавестись своим домом и семьей, так как я уже давно пережил пору первой юности, и что мой выбор пал на Аделину Леметр, актрису французской комедии ее императорского величества, может быть, и вы, ваша светлость, знаете ее?

– Нет, не припоминаю, – сказал Орлов, – я мало обращал внимания на комедиантов. Но ты, Петр Севастьянович, напрасно делаешь это, ты слишком стар и уродлив для французской актрисы; она наставит тебе рога, и это не сделает тебя более красивым. Впрочем, что же дальше? Что общего между этим твоим намерением и тем предостережением, о котором ты говорил?

При этих словах Орлова улыбка Фирулькина скорчилась в гримасу, но он все же заставил себя рассмеяться; он старался сделать вид, что находит шутку князя великолепной.

– Вы, ваша светлость, тотчас же поймете это, – продолжал он. – Мадемуазель Аделина познакомилась с молодым офицером Смоленского полка, Василием Мировичем; она приняла его ухаживания и, пожалуй, сама питала к нему ту мимолетную юную симпатию, которая не может обеспокоить умного супруга.

– Тем печальнее, тем печальнее! – воскликнул Орлов, – ты представляешь собою очень наивную фигуру рядом с молодым подпоручиком; будь осторожен! я уже вижу пробивающееся над твоим лбом головное украшение.

– Но молодой офицер, – продолжал Фирулькин, пропуская мимо ушей столь нелестное замечание князя, – по-видимому, взглянул на все это серьезнее. Узнав, что Аделина Леметр – моя невеста, он разразился страстным гневом. Кажется, что он требовал от государыни императрицы возвращения его родовых поместий, чтобы благодаря этому иметь возможность жениться на мадемуазель Аделине.

– Возвращения родовых поместий? – воскликнул Орлов, полуприподнимаясь в постели, – Василий Мирович, подпоручик Смоленского полка? Да, да, я припоминаю... Ну, что же дальше? – выказывая уже большее внимание, спросил он.

– И вот, ваша светлость, – сказал Фирулькин, – этот молодой человек, в жилах которого, как я могу предполагать, течет кровь опасного бунтовщика. В минуту гнева вел поносительные речи о государыне императрице – да сохранит и благословит ее Господь! – и у него даже вырвалась дикая угроза, смысла которой я не понял, но которая, во всяком случае, содержит изменнические намерения против нашей всемилостивой повелительницы.

– Мирович... Смоленского полка, – вполголоса, как бы про себя раздумчиво произнес Орлов, – полк стоит в Шлиссельбурге... – В его глазах блеснула молния. – Отлично, Петр Севастьянович, отлично! – сказал он затем. – С твоей стороны очень хорошо, что ты сказал мне об этом. Каждый верный подданный должен считать своим долгом заботиться о том, чтобы нигде в империи не было заронено злых семян государственной измены; все же это не будет иметь значения; пожалуй, придется не взыскивать с бедного молодого человека его гнев.

Собственно он не прав, так как ему будет и удобнее, и дешевле играть в любовь с его актрисочкой, когда она будет твоей женой.

Фирулькин вздрогнул; но он и на этот раз удержал на своих тонких губах кривую усмешку.

– Она – еще не моя жена ваша светлость – сказал он, – она упряма и своенравна и, по-видимому, намерена противиться воле матери; поэтому я вынужден покорнейше просить вас, ваша светлость, замолвить за вашего преданного слугу свое решительное и могучее слово. Аделина не осмелится противоречить далее, если узнает, что на моей стороне находится ваша всемогущая воля.

Орлов громко рассмеялся.

– Так вот ради чего этот бриллиант! – воскликнул он. – Но хорошо! Пусть твое желание исполнится! Однако я должен сказать тебе, что я могу приказывать маленькой актрисе выйти за тебя замуж, но, чтобы ты стал моложе и красивее, это сделать я никак не могу, да и к тому, чтобы она любила тебя, я также не могу принудить ее. И я заранее предупреждаю тебя, что она не сделает этого и что вскоре на твоей голове появятся такие же красивые рога, как у того старого греческого охотника, который подстерег Диану на купанье.

Вошел адъютант.

– Ну, теперь ступай! – сказал Орлов Фирулькину, поднимаясь с постели, – я не забуду твоей просьбы и во вред тебе самому исполню ее.

С глубоким поклоном Фирулькин удалился.

– Что скажешь? – спросил князь у вытянувшегося пред ним в струнку офицера.

– Адмирал граф Алексей Григорьевич Чесменский приказывает доложить вам, что казак Емельян Пугачев арестован и помещен в каземате крепости.

– Хорошо, – равнодушно произнес Орлов, – посмотри, вернулся ли уже из города поручик Павел Захарович Ушаков. Если ты найдешь его, то немедленно пошли ко мне.

– Я видел его на дворцовом дворе, и он тотчас будет к услугам вашей светлости.

Несколько минут спустя в комнату вошел молодой человек в форме Смоленского полка. Его лицо было настоящего славянского типа, во взоре его темных глаз лежал отпечаток хитрого лукавства. В услужливой позе он приблизился к князю. Усмешка на лице и самонадеян-

ная непринужденность указывали на то, что он был твердо уверен в особенном расположении всемогущего фельдцейхмейстера.

– Павел Захарович! – сказал Орлов, – мне нужно дать тебе поручение, при исполнении которого ты должен приложить всю свою сметку и весь свой ум.

– Я не нуждаюсь в подобных напоминаниях, – возразил Ушаков, – вы, ваша светлость, знаете, что все мои силы всегда предоставлены в ваше распоряжение, и до сих пор я имел счастье заслуживать ваше постоянное одобрение.

– Тебе не повредит, если и на этот раз тебе также удастся это, – сказал Орлов. – Ты знаешь подпоручика Василия Мировича, своего однополчанина?

– Я знаю его, – смущенно ответил Ушаков, – он – как раз мой друг, мой особенный друг, с которым я вырос в кадетском корпусе. Что с ним?

– Вот это-то именно я и хочу знать, – сказал Орлов. – Ты выпытай у него, поговори с ним обо всех его обстоятельствах. У него любовная интрига с одной французской актрисочкой?

– Больше чем любовная интрига, – смущенно ответил Ушаков, – это – настоящая, серьезная любовь, от которой он тщательно старался избавиться.

– Хорошо, – сказал Орлов, – ты поговоришь с ним относительно этого, поговоришь также об императрице, о правительстве... Ты будешь внимательно наблюдать за ним, за каждым его словом и будешь точно и пунктуально доносить мне обо всем, что ты увидишь и услышишь.

– Слушаю-с, ваша светлость, – ответил Ушаков. – Но я уже имел честь заметить вашей светлости, – колеблющимся и взволнованным голосом прибавил он, – что Мирович – мой друг.

– Разве существуют друзья, когда дело идет о службе государыне императрице, – строго и грозно спросил Орлов, – когда дело касается того, чтобы исполнить мое приказание? Впрочем, будь покоен! С твоим другом Мировичем не случится ничего дурного и, чем правдивее и точнее ты будешь доносить мне обо всем, что ты заметишь за ним, тем больше будет та услуга, которую ты окажешь ему самому. Теперь ступай, завтра я жду твоего первого донесения.

Ушаков по-военному откланялся и удалился из комнаты, но уже далеко не с тем самонадеянным и радостным выражением лица, с которым вошел сюда.

– Мой брат советует мне быть осторожным, – сказал Григорий Орлов, оставшись один. – И все же в своей смелой самоуверенности он склонен слишком низко оценивать каждого врага; на этот раз хорошо, что я никогда не забывал о предусмотрительном благоразумии и в каждом полку имею доверенное лицо, через которое узнаю все, что там происходит. Я отлично понимаю, на что намекал этот Мирович своими угрозами, о которых говорил мне Фирулькин. Этот дурак говорил о них, чтобы устранить соперника, и вовсе и не подозревал при этом, что тем самым коснулся ужаснейшей тайны России и дал мне в руки нить, чтобы направить все, согласно моему желанию. Лицо этого Пугачева и грозный гнев Мировича, вызванный потерей его актрисочки, должны быть в моей руке могучим орудием. Убаюкивай себя в своем самодержавном сне, неблагодарная императрица! Простирай свою руку к высшим целям своего честолюбия, дерзкий Потемкин! – у меня имеются казак и актрисочка и вскоре императрица, затрепетав, узнает, что ее трон далеко не устойчив, когда его не поддерживает и не защищает рука Орлова. Мое оружие отточено, но никто не должен знать его, пусть никто не подозревает его остроты... даже и мой брат. Теперь мне нужно отдохнуть. Сон дарит ясность мыслям и твердую уверенность воле.

Орлов еще раз наполнил свой фигурный бокал, одним духом опорожнил его и растянулся на жестком матрасе. Спустя несколько минут его равномерное, глубокое дыхание уже показывало, что сильная натура великана в состоянии повелевать по своей воле и сном.

Глава 7

На месте смотра войск до позднего вечера царило своеобразное оживление, обыкновенно широкой волной разливающееся у русского народа. Были огорожены различные места для танцев, по которым расхаживали горожане с их женами и дочерьми и солдаты, весело знакомясь друг с другом. Только весьма редко эту общую радость омрачал диссонанс.

Хотя по приказанию императрицы, в огромных палатках были в изобилии заготовлены пиво и водка вместе с излюбленными кушаньями, но опьянение, которому многие поддались вследствие щедро предлагаемых спиртных напитков, не делает русских, подобно людям других национальностей, сварливыми и невыносимыми; напротив оно придает им какую-то особенную, наивную, почти ребяческую веселость. Если где-либо, тем не менее, происходило какое-нибудь недоразумение или завязывалась ссора, то находившиеся в толпе офицеры с неумолимой строгостью заботились о том, чтобы участники беспорядка были удалены, так что он, во всяком случае, продолжался всего несколько минут, а в некотором отдалении от гулянья и вовсе не был замечен.

Наибольшим расположением петербургских горожан, их жен и дочерей пользовались солдаты, приведенные Потемкиным с турецкой войны. Несмотря на их рубцы и изорванную форму, молодые девушки предпочитали их в качестве танцоров, а вокруг более старых из них, уже не принимавших участия в танцах, образовывались группы молодых людей и женщин, усердно прислушивавшихся к их рассказам о подвигах великого Румянцева и его воинов в делах против басурман.

Казаки также пользовались особенною популярностью у петербургских горожан и у гвардейских солдат, завидовавших добытой армейскими полками славе и знакам отличия, которыми их наградила императрица. Только Емельян Пугачев, уединившись, сидел в одной из палаток; перед ним была кружка меда, но он лишь изредка отхлебывал пенистую влагу и, уронив голову на руку, предавался мрачным размышлениям. Его товарищи уже не раз пытались увлечь его в водоворот веселья, но он всякий раз быстро удалялся, как только ликующая толпа опоражнивала свои бокалы за здоровье императрицы и тотчас же давала вновь наполнить их из бочек, казавшихся неиссякаемыми.

– Нет! – скрежеща зубами, шептал про себя Пугачев, отыскав себе уединенное место в опустевшей палатке, – я не желаю пить за здоровье императрицы... я не хочу желать ей добра – той, которая не дала мне воли и лишила меня счастья. Ведь я верой и правдой служил ей долгие годы. Там, где нужно было, я, не колеблясь, проливал за нее свою кровь, но все же я и теперь лишен воли и мне отказано в возможности возвратиться к себе на родину и, после стольких битв, лишений и трудов жить для одной своей Ксении и начать ковать свое собственное счастье. Наш генерал – храбрый человек, жалеющий своих солдат, и все же он отказал мне в свободе; он не может дать мне ее, так как ему воспрещено это указом императрицы; разве это – дело, что так много храбрых и сильных людей подчиняется воле слабей женщин? Я хотел обратиться к ней лично, когда она проезжала верхом мимо нас. Я хотел лично просить у нее воли, но этот князь Григорий Григорьевич Орлов, ехавший рядом с нею, имел такой дикий, грозный и гневный вид, что я не осмелился на это, а к тому же, – сказал он, боязливо осматриваясь кругом и гневно сжимая кулаки, – все во мне воспротивилось намерению молить у женщины свободы для мужчины. Я подумал о том, что мне придется краснеть пред Ксенией за то, что у женщины, не происходящей еще притом от рюриковой крови, чужестранки, рожденной в еретичестве и...

Он испуганно замолчал и быстро поднес к губам кружку с медом, так как у самой палатки раздались шаги и вслед затем внутрь ее, где Пугачев до сих пор был один, вошел офицер в форме Преображенского полка.

На офицере были аксельбанты, указывавшее на то, что он состоял адъютантом при высокопоставленной особе. При его появлении Пугачев вскочил и отдал ему честь, а офицер проницательно взглянул ему прямо в глаза.

– Вот что, казак, – сказал он, – я ишу, с кем бы послать письмо в город, и не хотел бы мешать людям предаваться веселью; ты невидимому не находишь удовольствия в танцах и в шумном времяпровождении, поэтому я хочу поручить это тебе.

– Слушаю-с, ваше благородие, – сказал Пугачев, – мой конь отдохнул и готов служить вам.

– Как зовут тебя? – спросил офицер.

– Емельян Пугачев, – ответил казак.

– Ты принадлежишь к войскам, возвратившимся с генералом Григорием Александровичем Потемкиным из Турции?

– Так точно, – ответил Пугачев, – я был при осаде Бендер, а когда-то в армии генерала Апраксина сражался против пруссаков.

– Хорошо, – сказал адъютант, – я вижу, что ты – храбрый солдат и что я могу доверить тебе свое послание. Вот, – сказал он, передавая ему запечатанный конверт, – возьми это письмо, свези его в крепость, явись к коменданту и передай ему его. Тебе не нужно докладывать об этом своему начальнику, я беру на себя ответственность за службу ее императорскому величеству государынь императрице; ты скажешь это, когда, по выполнении своего поручения, возвратишься обратно и будешь опрошен относительно своего отсутствия.

– А если меня накажут за то, что я уехал без разрешения? – нерешительно спросил Пугачев.

– Ты знаешь мой мундир, – строго произнес офицер, – и слышишь, что я беру ответственность на себя; служба государынь императрице не терпит проволочек.

Пугачев отдал честь, взял письмо из рук адъютанта, сунул его в карман за пазухой и, выйдя из палатки, направился за палатки своего полка, где нашел своего коня.

Он вскочил в седло и стал огибать площадь, делая огромный крюк при этом, так как на площади никто не имел права показываться верхом. Затем, достигнув дороги, он пустил свою маленькую, долгогривую лошадку полным махом и, все еще под наплывом своих печальных, грустных дум поехал к городу.

Ему были знакомы эти улицы еще со времени похода на пруссаков, и в нем стали подыматься грустные воспоминания о тех днях, когда он, полный свежих, юных сил, находил всю свою радость в веселой солдатской жизни, когда тоска по родине еще не воплощалась в нем в образе его любимой Ксении и не заставляла признавать службу тяжелыми, давящими оковами.

Пугачев проехал по крепостному мосту; из-за мрачных каменных громад крепости вздымалась позолоченная башня над собором св. Петра и Павла.

Часовой у ворот окликнул его.

– По повелению ее императорского величества государыни императрицы, – отозвался казак, – пакет к коменданту.

Часовой пропустил его. Невольное боязливое чувство закралось в душу казака, когда он, миновав глухо звучащие своды ворот, въехал на внутренний двор крепости. Отсюда уже ничего не было видно из внешнего мира, кроме клочка синего неба, в который, казалось, упирались крепостные стены.

Пугачев доложил о своем поручении офицеру, командовавшему внутренними караулами, и вскоре появился комендант крепости, старый генерал с лицом сурового воина, и окинул казака удивленным взглядом. Он никак не мог понять, что могло быть общего между этим солдатом далекого, не принадлежавшего к петербургскому гарнизону, полка и службою императрицы.

– Что ты привез мне? – коротко и повелительно спросил он.

Пугачев вытащил письмо, полученное им от адъютанта в лагере, и передал его коменданту.

Последний осмотрел печать, вскрыл конверт и пробежал взором содержание письма.

Он испуганно вздрогнул и с еще большим удивлением, чем пред тем, осмотрел казака; но затем его лицо снова приняло спокойное, строгое и холодное выражение. Он шепнул несколько слов караульному офицеру и затем, обращаясь к Пугачеву, коротко по-военному приказал:

– Следуй за мной!

Затем он направился через двор к двери, которая была заперта замком и вела в помещения нижнего этажа.

Офицер с сержантом, несшим связку ключей, и пять человек из стражи шли по пятам за Пугачевыми, не обращавшим особенного внимания на все эти формальности, которые могли относиться к правилам крепостной службы.

Сержант отпер замок своим ключом. Комендант первым вступил в темный, извилистый коридор, предварительно быстрым взглядом убедившись, что Пугачев следует за ним.

Офицер и солдаты замыкали шествие.

В конце коридора была открыта вторая дверь. Она все больше углублялась внутрь массивного каменного мешка и, чем дальше шли они, тем тусклее становился, свет, попадавший сюда через редко разбросанные слуховые окна.

Наконец они прошли через небольшую переднюю: Позади нее находилась тяжелая железная дверь.

Комендант ввел Пугачева в маленькую комнату с выкрашенными в белый цвет стенами, с простою кроватью, столом и несколькими стульями. Единственное окно с крепкою железною решеткой выходило на крошечный дворик, из которого, по-видимому, не было никакого выхода, и который был окружен такими высокими стенами, что в глубине его царил унылый полумрак и что при взгляде на него через окно нельзя было видеть небо.

Пугачев несколько нерешительно перешагнул порог этого мрачного помещения. Он никак не мог понять, почему это комендант, для исполнения переданного им поручения или для передачи ему ответа на доставленное ему письмо, привел его в эту неприглядную глубь старого крепостного здания; но, прежде чем его мысли могли принять ясную форму, комендант снова перешагнул порог и сказал сопровождавшему их офицеру:

– Этот казак арестован!

– Арестован?.. я! – возмущенно воскликнул Пугачев, – я, ни разу не провинившийся по службе? Никогда ничего мне не могло быть поставлено в вину! Это невозможно!.. Что сделал я?

– Ты арестован согласно приказу ее императорского величества государыни императрицы! – сказал комендант, – в то время как офицер приставил к порогу комнаты двух часовых с примкнутыми у ружей штыками. – Арестант должен пользоваться хорошей пищей и я сам позабочусь об этом; но под страхом наказания смертью никто не должен входить в каземат, кроме сторожа, которого я приставлю для этого; никто не смеет разговаривать с ним, отвечать на его вопросы!

– Это невозможно! – вне себя воскликнул Пугачев, – это – недоразумение, какая-то путаница. Неужели же просьба о воле, выразить которую я осмелился сегодня, будет наказана столь суровым заключением в темницу? О, в таком случае, – воскликнул он с налившимися кровью глазами, – Боже великий, пошли свои гром и молнию на головы иноземных еретиков, которые затоптали ногами святейшие законы природы и унизили свободных людей до положения рабов!

На губах Пугачева проступила белая пена. Он хотел броситься на солдат, но по знаку коменданта они уже со звоном захлопнули тяжелую железную дверь, ключ заскрипел в замке, пленник был наглухо заперт.

– Вы останетесь со своими людьми в этой передней, – отдал офицеру приказание комендант. – Я позабочусь о вашей смене; вам известны инструкции и вы будете точно следовать им. Убедившись еще раз в надежности дверного запора, комендант удалился.

Офицер сел на скамеечку возле окна и стал смотреть на мрачный двор, в то время как солдаты с ружьями в руках расположились на стоявшей у стены скамье.

Из каземата сквозь толстые стены и тяжелую железную дверь глухо, как бы издали раздавались ужасные проклятия и дикие крики ярости, и они звучали так страшно, что офицер и солдаты по временам вздрагивали до мозга костей; казалось, будто хищный зверь в пустыне с рычанием потрясал цепями в своей клетке или будто демон адской преисподней намеревался разорвать страшные звенья цепей, которыми был прикован к бездне вечного мрака. Но ни один мускул на лице солдат не дрогнул: все они молча и неподвижно сидели на своих местах; они знали свой приказ по службе, остальное их не касалось, и каждый из них, привыкший к крепостной службе, уже переживал что либо подобное, не зная и не задаваясь вопросом, почему это бывало и к чему дальнейшему могло повести.

Солнце уже зашло. Гвардейцы, окруженные толпами ликующего народа, мало-помалу возвращались в свои казармы. Петербургские улицы теперь были настолько же оживлены толпившимися народными массами, насколько были тихими и вымершими в предобеденное время. Окна Эрмитажа в Зимнем дворце осветились, так как близился час, когда в покоях императрицы собиралось самое избранное придворное общество.

По берегу Невы, со стороны Александро-Невской лавры сквозь толпившийся народ ехала карета; ее окна были плотно закрыты зелеными занавесками; на ее дверце не видно было герба, на кучере не было ливреи. Никто не обращал внимания на этот простой возок, которому то и дело приходилось останавливаться и ожидать, пока густая толпа расступится и даст ему дорогу.

Этот возок свернул на большой мост, ведущий к крепости, и, наконец, остановился перед теми же самыми воротами, в которые несколько часов пред тем въехал Емельян Пугачев, чтобы передать коменданту доверенное ему письмо.

Часовой подошел к карете; ее дверцы растворились и часовой увидел перед собой монаха в длинной рясе, с совершенно надвинутым на голову клобуком и прикрытым лицом, так что нельзя было разглядеть его. Монах протянул часовому составленный по всей форме и снабженный большой печатью пропуск и так как солдат удостоверился в подлинности печати, то карета проехала воротами во внутренний двор, где караульный офицер снова открыл ее дверцы.

– Нужно тотчас же позвать коменданта, у меня есть приказ к нему, – сказал монах голосом, который звучал слишком высокомерно и повелительно для простого монаха.

Вместе с тем он показал офицеру письмо. Последний внимательно осмотрел печать и надпись на конверте и тотчас же послал ординарца с докладом к коменданту.

Вскоре появился на дворе и комендант; не говоря ни слова, монах подал ему письмо, которое пред тем показывал караульному офицеру.

Генерал посмотрел на печать и, покачивая головою, окинул взором стол необычного передатчика военного приказа. Но на его лице отразилось еще большее удивление, когда он прочитал содержание письма; тем не менее, он ни словом не выразил своего удивления и лишь сказал монаху то же самое, что несколько часов назад сказал Пугачеву:

– Следуйте за мной!

На вопрос караульного офицера комендант отклонил предложение сопутствовать ему и рядом с монахом, который был выше его почти на целую голову, зашагал по тем же самым длинным переходам, по которым вел и Пугачева.

В передней, где находились офицер и стража, горел большой фонарь. При появлении коменданта офицер и солдаты вскочили со скамей. Из находившегося за стеной каземата все еще раздавались шумные, грозные проклятия, сопровождаемые гулкими ударами в железную дверь.

– Откройте! – распорядился комендант. – По приказу генерала-фельдцейхмейстера, этому монаху открыть свободный доступ к арестанту.

– Он неистовствует, ваше превосходительство! – сказал офицер. – Как вы изволите сами слышать, открывать дверь и входить к нему опасно.

– В таком случае приготовьтесь связать его, если это понадобится, – приказал генерал.

– В этом нет необходимости, – сказал монах глубоким, сочным голосом. – Как бы там ни было откройте, я не нуждаюсь ни в чьей помощи.

Ключ заскрипел, засовы были отодвинуты; медленно повернулась на своих петлях тяжелая дверь.

Едва свет фонаря упал внутрь темного каземата, как Пугачев с поблекшим лицом, дико вращая глазами, с пеною у рта и рыча, как разъярившийся хищный зверь, бросился оттуда. Его вид был так страшен, что солдаты испуганно отступили.

Но монах уже ступил на порог.

Когда Пугачев обрушился на него, протянул руки и схватил его за горло, чтобы задушить, монах с громким ироническим смехом схватил руки казака, с силой отогнул их за спину и после короткой борьбы бросил неистовствовавшего на землю. Он крепко, как железными тисками, держал его руки, прижал его грудь коленом и сказал:

– Успокойся, безумец!.. Разве ты не видишь одеяния? Я являюсь сюда, чтобы утешить тебя; поэтому молчи и выслушай меня! Ты видишь, что всякое сопротивление бесполезно. Моя рука столь же сильна, чтобы связать тебя, как могуче утешить и ободрить тебя мое слово.

Пугачев уставился на него взором своих налившихся кровью глаз. В самом ли деле внушило ему доверие монашеское одеяние, или в своем изнеможении он склонился пред превосходством силы, только он издал лишь глухой звук и его судорожно напряженные мускулы ослабели.

– Внесите сюда фонарь! – сказал монах повелительным голосом, в котором слышна была привычка встречать повиновение. – Теперь ступайте и оставьте нас одних! – приказал он далее, когда в каземат внесли фонарь.

Дверь закрылась. Комендант удалился, тихо бормоча про себя:

– Что значит все это? Какие церемонии с этим простым казаком? А этот монах... где, черт возьми, я слышал этот голос?

Покачивая головой, он шел вдоль коридора, в котором, несмотря на мрак, отлично ориентировался. Но ему никак не удавалось разобраться в своих воспоминаниях, и он не мог найти в них определенное место для голоса монаха.

Офицер и солдаты остались в передней и боязливо прислушивались, так как, несмотря на превосходство силы, выказанное монахом, они все же боялись новой схватки с арестованным, которая могла стать опасной для служителя церкви.

Внутри каземата монах оставался несколько минут в том же положении, с коленом на груди казака и, не выпуская из своих железных тисков его рук.

– Ну, успокойся, Емельян!.. – сказал он, – имей доверие к моей одежде; я не намереваюсь делать тебе зло, и в доказательство этого возьми вот этот подкрепляющий напиток, в котором ты наверно нуждаешься.

Он выпустил арестованного, действительно уже не делавшего попыток возобновить свою борьбу с монахом, огромную силу которого он уже испытал на себе.

Монах вытащил из рясы бутылку, оплетенную лубком, поднес ее распростертому на земле арестанту и сказал:

– Выпей, это укрепит тебя и успокоит.

Пугачев, ни минуты не колеблясь, приложил бутылку ко рту и сделал из нее порядочный глоток. Затем он глубоко вздохнул, на его бледном, искаженном лице появилось выражение удовольствия, и он усталым голосом проговорил:

– О, как приятно, батюшка! Вы не можете принести мне ничего дурного, так как даете мне столь великолепный напиток; говорите, что вы в состоянии сказать, чтобы утешить в этом несчастье мою душу.

– Почему ты здесь, почему ты арестован? – спросил монах.

– Почему я арестован? – воскликнул Пугачев, внезапно вскакивая с места и уставляясь на монаха вновь загоревшимся ненавистью и яростью взором. – Я арестован потому, что тосковал по родине, потому что нуждался в свободе, потому что осмелился просить этой свободы, и вот поэтому я осужден истомиться и сгнить в этой тюрьме. Клянусь Господом Богом, лучшим утешением, которое вы могли бы мне дать, была бы смерть; быть может, вы намеревались дать мне это утешение? Не подмешали ли вы свой яд в этот напиток, который огнем течет по моим жилам?

– Не из-за того ты здесь, Емельян, – возразил монах.

– Не из-за того? – переспросил казак, – из-за чего же?

– Благодаря своему лицу, слышишь? Благодаря своему лицу. Разве ты никогда ничего не замечал в своем лице? Разве тебе никто никогда не говорил, что особенного в твоём лице?

Пугачев в упор уставился взглядом на монаха.

– Подумай хорошенько, – сказал последний, – ты был на службе при великой императрице Елизавете Петровне, при императоре Петре Федоровиче...

– Петр Федорович! – воскликнул Пугачев, по-видимому, роясь в своих воспоминаниях. – Да, да, батюшка! Что-то такое блеснуло у меня из прошлого. Дело было под Бендерами, когда мы осаждали эту крепость; раз как-то остановился возле меня офицер генерала Панина и сказал другому, сопровождавшему его: «Взгляни на этого казака; если бы император Петр Федорович не был мертв, я поклялся бы Богом в том, что это он живой стоит здесь предо мною». – «В самом деле, это бросается в глаза», – сказал другой офицер и оба прошли мимо. Я скоро позабыл об этом; я только помню о том, что тогда сильно перепугался, так как ведь не может принести счастье сходство с бедным императором Петром Федоровичем, который...

Пугачев запнулся и боязливо посмотрел на монаха.

– Который, – произнес последний, заканчивая слова казака, – был свергнут с престола своею супругой, чужестранкой, не имеющей ничего общего со святой Русью, и носящей теперь его корону.

– Он мертв, – сказал Пугачев и перекрестился, – упокой, Господи, его душу.

– Он мертв, – сказал монах, тяжело опуская свою руку на плечо Пугачева, – он мертв, говоришь ты, и все же ты мне рассказал, что тот офицер при взгляде на твое лицо подумал, что видит его. Но и я сам признаю в твоём лице черты императора Петра Федоровича.

– Я вас не понимаю, батюшка, – дрожа, проговорил Пугачев, – у меня голова идет кругом от ваших слов; насколько я могу припомнить свое детство, я всегда был Емелькою, только Емелькою Пугачевым, родившимся на берегах тихого Дона, великой реки моей родины.

– Есть страшные искусства. – Сказал монах, – изученные теми, кто заложил свою душу адским силам преисподней; существуют козни, которые приводят в замешательство наш ум и вызывают в нем ложные, обманчивые представления; эти последние будят в нас воспоминание о таких вещах, которых никогда и не было, и умерщвляют воспоминания о том, что было в действительности.

– Я не понимаю вас, я не понимаю вас, батюшка, – повторял Пугачев.

– Царь Петр Федорович умер, – сказал монах, – потому что его супруге захотелось возложить на свою голову российскую корону. Ну, а если бы та, которая теперь называется императрицей, – продолжал монах, – тем не менее, дрогнула и отступила пред превосходящим всякую меру представлением, или если бы те, кто были ее орудием, не осмелились пролить священную царскую кровь, то...

– О, батюшка, батюшка, – падая на колена и вздымая к нему свои трепещущие руки, произнес Пугачев, – батюшка, что вы сказали? О, если бы это было возможно, то...

– Ты слышал же, что сказал тот офицер? – спросил монах. – Если бы император Петр Федорович не был мертв, – сказал он, – то ведь этот офицер был бы готов в твоём образе видеть его пред собою. И вот, если император Петр Федорович не умер, если его воспоминания расстроены, если его ум ослеплен безумием, то не существует на свете Емельяна Пугачева, то жив еще император и в состоянии еще мстить за совершенное беззаконие и повести к победе вечно живое право... Подумай как следует над этим! Собери всю свою волю! Проникни, насколько можешь, в свои воспоминания. Разве ты, уверен, вполне уверен, что родился и вырос на берегах Дона, что ты всегда был Емельяном Пугачевым?

Пугачев сжал руками свою пылающую голову.

– Батюшка, батюшка! – воскликнул он, – все крутится в моей голове... я уже не проникаю ясно в свою память... все сбилось в ней...

– Это сказывается действие того питья, которое приготовили адские духи для злоумышленников, давших его тебе. Но зато я ясно вижу твоё лицо, изменить черты которого не было в их власти, и я говорю тебе, что ты – Петр Федорович, позорно преданный, лишенный престола царь; ты призван спасти Русь, ты призван к мести, к совершению правосудия... Приветствую тебя, Петр Федорович! тебе принадлежит будущее... В твоей голове снова оживут воспоминания, как только священная корона коснется ее в московском Кремле.

Пугачев, словно пьяный, неверными шагами ходил взад и вперед по узкому помещению, затем снова упал на колена пред монахом, умоляюще схватил его руки и воскликнул:

– Батюшка, батюшка, не обманывайте меня, не вливайте отравляющей мечты и сна в мою душу! Пробуждение от подобного сна искупается смертью!

– Сном было твоё настоящее существование, – сказал монах. – Пробудись к действительности, Петр Федорович, внук великого царя Петра Алексеевича, владыка и повелитель святой Руси!

Пугачев совершенно опустил на пол, коснулся его лбом и минуту оставался неподвижно лежать в таком положении.

– А если это так, батюшка, – воскликнул он затем, вдруг снова выпрямляясь и устремив на монаха свой дикий взор, – то разве я не заключен в эти стены, разве не стоять здесь часовые, разве я не погребен навеки? Быть может, за теми дверями меня ждут кинжал и новый яд...

– Будь спокоен, – сказал монах, – разве я пришел бы к тебе и раскрыл бы тебе тайну, мрак которой будет просветляться все больше, чем ближе будешь ты к коронованию в святой Москве, перед чем не устоять никаким адским чарам? Разве я сделал бы это, если бы не было в моей власти раскрыть двери тюрьмы и возвратить тебе свободу?

– Батюшка, батюшка, – воскликнул Пугачев, – кто же вы? Не посланы ли вы самим Небом, раз в ваших руках находится подобная власть?

– Я послан судьбой, – возразил монах, – и от твоей воли, от твоего мужества, от твоей силы будет зависеть исполнить решение судьбы, возвестить о котором я явился к тебе. Сегодня еще тебе будет возвращена свобода, и ты безопасно возвратишься в страну сильных, смелых и верных людей, в ту сторону, которую, охваченный безумием, ты до сих пор считал своею родиной. Как только ты прибудешь туда, возвести о своей тайне... возвести, что не умер царь Петр Федорович, что он ожил в тебе, чтобы мстить и карать... возвести об этом на благо России...

– Неужели это – правда, неужели это возможно, неужели со мной может произойти столь неслыханное превращение? – воскликнул Пугачев. – Да, – продолжал он, гордо выпрямляясь и расправляя руки, – да, я чувствую, что это – истина; память еще не возвращается моему помутневшему рассудку, но я чувствую, как течет в моих жилах старая царская кровь, как напрягаются мои мускулы, как растет моя сила, подобно могучему дубу... Да, это – я... я – Петр Федорович, царь, мститель, освободитель! – Но вдруг он побледнел, и его руки беспомощно

опустились. – А моя Ксения? – болезненным, жалобным стоном вырвалось у него, – что будет с моей нежной красавицей Ксенией?

– С твоей Ксенией? – спросил монах, – Что это? Что это значит?

– Батюшка, – ответил Пугачев с болью в голосе, – это – красивейшая, прелестнейшая девушка среди всех казачек с берегов великолепного Яика. О, если бы я сегодня уже сидел на престоле и на моей голове была царская корона, я отдал бы ее за свою Ксению.

– К чему? – спросил монах. – Разве вел ими император. Петр Алексеевич не подал своей руки неизвестной девушке? Добейся престола, для которого ты рожден, и от твоей воли будет зависеть возвысить до себя Ксению и короновать ее царскою короною, как великий царь Петр Алексеевич короновал Екатерину!

– Батюшка! – воскликнул Пугачев, – какое чудное сияние наполняет этот мрачный каземат, в котором я уже было, потерял всякую надежду!.. Моя Ксения – императрица! О, верьте мне, батюшка, верьте мне, нет на Руси достойнее ее главы для царского венца; блеск ее волос превзойдет блеск золота венца, а огонь ее глаз затмить собою сверкание драгоценных камней.

– Вперед за дело! – сказал монах. – Теперь я пойду; не давай согнуть свою волю и помутнить свой ум, в который теперь снова запали первые искры света.

– Вы идете, батюшка, – испуганно спросил Пугачев, – и оставляете меня здесь?

– Положись на меня, – ответил монах, – тебе не долго ждать своей свободы; здесь, в этом мрачном каземате, я приветствую мстящего царя, которого вскоре встретить ликующими кликами весь русский народ. Будь спокоен, молчи и жди!

Он низко поклонился казаку и тяжело ударил по двери. Тотчас же она отворилась.

Монах взял фонарь и, еще гуще закрыв свое лицо, вышел из каземата; согласно приказанию коменданта, один из часовых проводил его по длинному коридору до наружных ворот, где монах сел в ожидавшую его карету и направился через понтонный мост к городу.

Пугачев остался в темноте. Часовые прислушивались к происходившему в каземате, но там ничего не было слышно; монах и в самом деле, должно быть, нашел средство смягчить упорство арестанта.

Пугачев стоял в глубине своего каземата, опершись о подоконник, и сквозь решетку смотрел на окутанный мраком двор. Тысячи смутных образов всплывали в его уме и снова потухали в нем. То он видел себя на недостижимой высоте, рядом со своею Ксенией, тысячи людей склонялись к его ногам, и его глаза так ярко блестели, что при их фосфорическом свете можно было видеть и в глубокой тьме. То в нем снова всплывало малодушное сомнение, не было ли появление монаха, говорившего ему об адском напитке, лишь обманчивым сновидением и не останется ли он, тем не менее, навеки в этой тюрьме. Затем он бросился на колена и стал усердно молить Бога и всех святых, известных ему, о своем спасении и освобождении.

Пугачеву не суждено было долго пребывать в этой полной сомнения неизвестности. Не прошло и часа, после того как от него ушел монах, когда он снова услышал скрип ключа и засова. Дверь отворилась. Пугачев увидел в передней коменданта и офицера в адъютантской форме.

Комендант держал в руках вскрытое письмо и сказал:

– Вот этот арестованный. В течение нескольких часов это – уже третье письмо, которое я получаю относительно этого загадочного казака, и мне, в самом деле, не понятно, – немного, ворчливо прибавил он, – какое важное обстоятельство связано с ним или что за недоразумение заключается здесь. Как бы то ни было, – продолжал он, обращаясь к пожимавшему плечами адъютанту, – этот ордер приказывает мне передать вам этого арестованного... Вот он... Теперь мне уже не придется более возиться с ним, и я надеюсь, что моего покоя уже не нарушат более из-за него.

Пугачев подумал, что грезит. Простой монах, обладавший такою большою властью, что мог раскрыть пред ним двери тюрьмы и провести его мимо ряда часовых на волю Божию, должно быть, был действительно небесным посланцем.

Адъютант сделал знак, чтобы он следовал за ним.

Пугачев минуту колебался.

– Я приехал сюда на своей лошади, – сказал он затем, – нельзя ли мне взять ее с собою, если мой арест прекратился? Это – умное и преданное животное, оно часто невинно носило меня под дождем вражеских пуль; прошу вас, возвратите мне моего коня!

– У меня нет приказа по этому поводу, – возразил адъютант, – но у меня нет соображений, которые препятствовали бы исполнению твоей просьбы.

– Лошадь казака стоит в конюшне, – сказал комендант, – выведите ее и возвратите ему! – приказал он часовому.

Солдат шел впереди и светил.

На дворе уже была приведена лошадь Пугачева. Он схватил ее поводья и последовал за адъютантом, а лошадь обнюхиванием и веселым ржанием стала выражать свою радость по поводу встречи с хозяином.

На улице, пред воротами крепости стояла маленькая, легкая повозка, запряженная тройкой лошадей.

– Садись, – сказал офицер, – вот тебе плащ и фуражка, а вот и кошель с золотом. Ты отпущен со службы, Иван Васильевич; этот возок доставит тебя до самых пределов твоей родины. Вот твой паспорт!

Пугачев был очень удивлен, что офицер назвал его другим именем, но его доверие к загадочной власти монаха так возросло, что он не спросил его об этом.

Пугачев взял бумагу, закутался в плащ и надел фуражку.

– Но как ты намерен поступить со своей лошастью? – спросил офицер.

– Привяжем ее к упряжке, – сказал Пугачев, – у нее стальные ноги и она не знает усталости.

Он подозвал лошадь несколькими непонятными словами.

Умное животное спокойно и послушно дало привязать себя к тройке, офицер сделал знак, и маленькая повозка, похожая на те, в которых обыкновенно приезжают крестьяне из деревни в город, переехала мост и направилась по другому берегу реки.

Пред Зимним дворцом кучеру пришлось свернуть в сторону, потому что бесконечная вереница блестящих экипажей, сопровождаемых скороходами с факелами в руках, тянулась друг за другом к подъезду дворца, так как в это время происходил вечерний прием у императрицы.

Придворные кавалеры и дамы, разодетые в шитые золотом и серебром костюмы, украшенные драгоценными камнями, садились в экипажи, чтобы ехать на поклон к могущественной монархине, пред которой гордая Польша смиренно склоняла голову и турецкий султан дрожал в своем Стамбуле. В это же время бедный казак Емельян Пугачев, выезжал в своем узеньком тарантасе в далекие степи, где его ждало счастье любви и где ему предстояла великая цель, по достижению которой он, по предсказанию таинственного монаха, должен был вознестись на необыкновенную высоту.

Глава 8

За час до наступления вечера Потемкин вышел из покоев императрицы. Высоко подняв голову, с гордо блестящими глазами направлялся он через картинную галерею и большие залы Зимнего дворца в свое помещение.

Дворцовая стража отдавала генерал-адъютанту ее императорского величества воинскую честь, а все служащие отвечивали ему низкие поклоны. Живя постоянно при дворе, они обладали тонким чутьем и сразу увидели на лице недавно еще забытого всеми генерала печать монаршего благоволения. Потемкин небрежным кивком головы отвечал на униженные поклоны и многие недружелюбные взгляды, полускрытые насмешливые улыбки провожали высокомерного любимца, который, по-видимому, думал крепко и надолго удержать в своих руках расположение императрицы.

В конце галереи, соединявшей Эрмитаж с Зимним дворцом, Потемкин встретился с человеком, который представлял полнейший контраст с ним самим. Это был господин лет шестидесяти. Его маленькая, худая, узенькая фигурка казалась еще меньше от привычки горбиться; простой серый суконный костюм, совершенно не подходивший к роскошной обстановке дворца, еще более резко бросался в глаза, чем самый дорогой, расшитый золотом и серебром камзол царедворца.

Лицо сгорбленного человека поражало своим умным выражением; блестящие глаза проницательно смотрели из-под темных ресниц, а легкая бледность и преждевременные морщины указывали на усиленную умственную работу и физические страдания. Голову этого человека покрывал простой короткий парик, а в руках он держал шляпу, лишенную каких бы то ни было украшений. По внешнему виду встретившегося господина можно было принять за одного из самых маленьких чиновников дворцового ведомства, хотя он, несмотря на свой рост, так же высоко поднимал голову, как блестящий генерал Потемкин, и так же высокомерно отвечал на низкие поклоны камергеров. Глядя на почести, оказываемые этим двум лицам, можно было подумать, что высокого роста генерал и незначительный старичок в сером занимают первенствующее положение среди всего блестящего двора императрицы.

Потемкин с удивлением смотрел на незнакомца; он ожидал, что тот поклонится ему так же, как и все другие служащие, но тот спокойно прошел мимо, скользнув по нему равнодушным взглядом. Генерал-адъютант императрицы несколько смущенно оглянулся, задетый дерзостью старика, и увидел, что тот уверенным шагом прошел по галерее к апартаментам Екатерины Алексеевны, а стоявший у дверей караул почтительно посторонился пред ним.

– Кто этот человек? – спросил Потемкин одного из камергеров. – Он, верно, состоит в штате прислуги ее императорского величества, так как свободно прошел в ее покои?

Камергер, по-видимому, был удивлен вопросом Григория Александровича.

– Вы спрашиваете о том господине, который только что был здесь? Ведь это – Дидро! – ответил он.

– Дидро? – недоумевающим тоном повторил Потемкин, пожимая плечами. – Ах, да, да, – прибавил он, – понимаю; это – верно хирург или зубной врач ее императорского величества; он действительно похоже на это.

– Нет, ваше превосходительство, – ответил камергер, – Дидро – не хирург и не зубной врач; это – известный французский писатель-философ. Ее императорское величество купила его библиотеку и милостиво назначила его своим библиотекарем, пригласив его для этого в Россию. Государыня императрица выказывает ему особенную благосклонность.

– Ах, Дидро! – воскликнул Потемкин, как бы припоминая что-то, – Дидро! Так это был Дидро?

Потемкин направился дальше, всю дорогу думая о старике и об императрице.

– Она умна, – тихо прошептал он, – очень умна. Все эти Вольтеры и Дидро, безжалостно колеблющие шатающийся трон Франции, будут по всей Европе прославлять Екатерину Великую и в течение многих столетий ее имя сохранится среди потомства.

Лаская этих вольнодумцев, государыня ничем не рискует, так как их теории останутся теориями, погребенными в Петербурге, и их отголосок не дойдет до широких пространств России. Однако правительница, будучи сама свободомыслящей, не уступит ни одной из своих привилегий самодержавной монархии. Да, она очень умна! Удастся ли мне обуздать ее дух и упрочить за собой непоколебимую власть? Сумею ли я достичь большего, чем достиг Орлов?

Преследуемый этими мыслями, Потемкин вошел в переднюю своей квартиры и в глубоком раздумье остановился у порога.

– Да, я должен этого достичь! – вдруг громко воскликнул он и сейчас же испуганно оглянулся, как бы боясь, чтобы его кто-нибудь не услышал. – Никто не должен видеть меня с опущенной головой, – продолжал он размышлять вслух, после того как убедился, что никто не может подслушать его. – Екатерина умна и отважна. Нужно следовать за полетом ее мыслей, а для отваги указать такую цель, до которой даже она еще не дерзала додуматься. Да, я должен достигнуть того положения, о котором мечтаю. Если этого не будет, то я останусь лишь временным фаворитом, всецело зависящим от расположения духа императрицы, как это было с Орловым. Но Григорий Александрович Потемкин не помирится с подобной ролью. Как бы ни была могущественна государыня, она все же – прежде всего женщина, а женщина всегда покоряется мужской воле и силе.

Уверенный в себе, Потемкин так гордо оглянулся, как будто вся великая Россия уже преклонила перед ним.

Между тем Дидро спокойно шел по галерее, время от времени останавливаясь перед какой-нибудь картиной, возбуждавшей его особенное внимание. Наконец он подошел к апартаментам императрицы, где его встретил тот же самый паж, который провожал Потемкина через потайную дверь.

– Можно видеть ее императорское величество? – спросил Дидро. – Она мне назначила этот час.

– Ее императорское величество всегда с удовольствием принимает вас, – ответил паже. – Войдите, пожалуйста, государыня наверно сейчас выйдет.

Паж открыл дверь, но не ту, через которую проходил Потемкин, и Дидро очутился в кабинете, обитом светло-зелеными шелковыми обоями; материей такого же цвета была покрыта вся мебель; картины старинных мастеров украшали стены. Пред диваном стоял маленький стол с несколькими раскрытыми книгами. Над столом в богатой раме, занимавшей почти всю стену, висела картина, изображавшая морскую битву, причем главное место было отведено взрыву большого линейного корабля. Из кабинета виднелся целый ряд роскошно обставленных комнат, заканчивающихся зимним садом, к которому примыкал будуар императрицы; в нем Екатерина Великая принимала Потемкина. Это была уединенная комната, в которую никто не смел входить без разрешения государыни. Она отделялась от зимнего сада глухой стеной и многие даже не подозревали о существовании этого уютного уголка. Дидро перелистывал несколько минут лежавшие на столе книги, а затем принялся рассматривать художественно исполненную картину, время от времени выражая свое одобрение тихими возгласами. Он был так погружен в созерцание картины, что не слышал легких шагов императрицы, направлявшейся через зимний сад в свой кабинет.

На государыне был простой темно-синий шелковый костюм, а на груди блистала звезда Андрея Первозванного. Вместо всяких украшений, ее шею обвивало жемчужное ожерелье; а на слегка напудренных волосах возвышалась небольшая диадема. Время от времени императрица останавливалась перед каким-нибудь редким цветком или созревшим фруктом. Только

подойдя к порогу кабинета, она заметила присутствие Дидро; она незаметно подошла к нему и прикоснулась веером к его плечу.

– Здравствуйте, господин Дидро, – проговорила она. – Простите, пожалуйста, что я заставила вас ждать. Я делала обзор своим растениям и сорвала несколько винных ягод, только что созревших. Возьмите, мой друг, эти продукты моего сада. К сожалению, я могу предложить только эту безделицу взамен цветов и дорогих плодов вашего ума, которыми я пользуюсь с дивным наслаждением.

При первых словах государыни философ быстро обернулся и поклонился ей тем почти-тельным поклоном, которым приветствует хорошо воспитанный мужчина знакомую даму, без всякой примеси верноподданнической угодливости.

– Вы слишком добры, ваше императорское величество, – ответил он, снимая плод с зеленой ветки, которую ему дала государыня. – Французский король не мог бы предложить мне лучший экземпляр фиги, хотя Франция является родиной фиговых деревьев, не говоря уже о том, – прибавил он с насмешливой улыбкой, – что французский король никогда не удостоил бы такой милости представителя опасной философии, которую он старательно и безуспешно стремится искоренить в своем государстве.

Екатерина Алексеевна с улыбкой пожала плечами.

– Мой брат, король Франции, – заметила она, – очевидно, смешивает философов с про-роками, которые, как известно, не имеют успеха в своем отечестве. Я очень желала бы, чтобы все великие умы, не признанные на своей родине, приехали в Россию; здесь сумели бы оценить их. Вы любовались этой картиной, – переменяла она тему разговора, – не правда ли, она очень хороша? Гакерт ее только что совсем окончил и, по моему мнению, исполнил мастерски.

– Да, прекрасная картина! – согласился Дидро, – по ней можно ясно представить себе, ваше императорское величество, все ужасы морской битвы.

– Картина хорошая – проговорила Екатерина Алексеевна, – но еще лучше то, что она собой напоминает. На ней изображено сражение при Чесме, когда мой флот уничтожил турецкий и дал России возможность господствовать на Черном море.

Императрица так победоносно указывала на картину рукой, точно видела пред собой не изображение битвы на полотне, а само сражение, успех которого зависел от мановения руки русской монархини.

– Да эта картина поразительно художественна, – продолжал восхищаться Дидро, – так и кажется, что сейчас услышишь грохот пушек и страшный взрыв, заставивший взлететь в воздух турецкий корабль. Художник, очевидно, присутствовал при этой жестокой битве; никакая фантазия не дала бы ему возможности изобразить подобную вещь.

– Художник Гакерт, – с улыбкой возразила Екатерина Алексеевна, – спокойный, рассудительный человек. Вдумчивым взором всматривается он в природу, проникает в ее тайны, но конечно никогда не решился бы присутствовать при морской битве, где его жизни грозила бы двойная опасность.

– Но очевидно он видел взрыв, ваше императорское величество, – настаивал Дидро, – видел могучую силу пламени, уничтожившего, огромный корабль, необыкновенную борьбу двух противоположных элементов – воды и огня.

– Да, он все это видел, – подтвердила императрица, – но только не на войне, а сидя спокойно в шлюпке с тетрадью эскизов в руках, чтобы тут же зарисовать картину взрыва фрегата, стоявшего на рейде в Ливорно; этот взрыв произвел Алексей Григорьевич Орлов для того, чтобы дать художнику возможность написать с натуры.

Дидро в глубоком изумлении смотрел на Екатерину Алексеевну, не понимая, как может государыня так спокойно говорить о столь ужасных вещах. То, что сообщила императрица, напоминало времена Нерона, приказавшего сжечь Рим для того, чтобы иметь представление о разрушении Трои.

Екатерина Алексеевна заметила, какое ужасное впечатление произвели ее слова на философа, и поспешила успокоить его.

– Конечно, – промолвила она, – все матросы с судна были удалены, вместо них поставили восковые фигуры, для того чтобы художник мог правдоподобно изобразить на картине, как люди взлетают на воздух.

Проговорив это, она опустила на диван, пригласив облегченно вздохнувшего Дидро занять место возле нее.

– Я позволил себе в ожидании прихода вашего императорского величества посмотреть ваши книги, – садясь, сказал философ.

– Да, это – мое развлечение в минуты отдыха от государственных забот, – заметила императрица. – Монархиня нуждается в освежении своего ума, ей необходимо хоть такое общение с друзьями, если у нее нет возможности иметь их возле себя; ведь только по отношению вас мне выпало такое счастье. Но, несмотря на то, что я имею возможность лично беседовать с вами, вы видите здесь и ваши чудесные записки о слепых. Я занялась их изучением, – прибавила она с улыбкой, – чтобы прозреть, чтобы мой строгий критик и друг не причислил меня тоже к слепым.

Бледные щеки Дидро вспыхнули от удовольствия; несмотря на глубоки ум, человеческие слабости были доступны и ему; тонкая лесть государыни приятно пощекотала его самолюбие.

– Сидя в кабинете вашего императорского величества, можно подумать, что находишься в Париже, – проговорил он, – ведь здесь собраны все лучшие произведения французских писателей. Я осмеливаюсь причислить сюда и свой труд, потому что писал откровенно, без всякого страха то, что считал истиной. По-моему, величайшей задачей каждого писателя должна быть правда. Не боясь никаких нареканий, он должен искренне высказывать свое мнение...

– Это делает ему особенную честь, если он умеет при этом облечь правду в такой грациозный облик, как это делаете вы, – прервала философа императрица.

– Но среди знакомых книг, – продолжал Дидро, – я вижу маленькую брошюрку, которой раньше не встречал. Я говорю о рассказе: «Маленький самоед». Я не видел ее в Париже, но вероятно это произведение заслуживает внимания, раз оно находится на столе все милостивейшей государыни между другими образцами французской литературы.

– Эта маленькая книжечка занимает такое же место рядом с произведениями Вольтера и Дидро, какое занимает скромный школьник рядом с профессором, – возразила Екатерина Алексеевна. – Вы знаете, мой уважаемый друг, что я обратила особенное внимание на учебные заведения для благородных девиц. Я считала себя призванной продолжать деятельность Петра Великого. Могучий государь, производя в России реформы, совсем позабыл о женщинах; поэтому цивилизация коснулась лишь внешней стороны жизни. Для того чтобы следующие поколения были вполне культурными людьми, необходимо, чтобы женщины дворянского сословия получали европейское воспитание. Под влиянием жен и матерей улучшатся нравы всего человечества.

– Совершенно верно, совершенно верно, – живо воскликнул Дидро. – Конечно, существуют исключения, но, в общем, женщина оказывает на мужчин огромное влияние, как в хорошую, так и в дурную стороны. К сожалению, нужно признаться, что чаще в дурную.

– Следовательно, тем более нужно стремиться развить женщину, дабы направить ее влияние только в хорошую сторону, – заметила императрица. – Не желая оставаться совершенно бесполезной в таком великом деле, я решилась сама взяться за перо. Я передала разные эпизоды из русской истории в маленьких рассказах для младших учениц института, чтобы в легкой форме изложить им главные требования морали. Вы видите в своих руках мое первое печатное произведение; я хочу перевести его также на русский язык, может быть, оно тогда распространится среди народа.

Снова Дидро взглянул на императрицу с большим удивлением. Совершенно забывшись, он сильно ударил рукой по ее колену и воскликнул:

– С тех пор, как я странствую по России и пользуюсь милостями вашего императорского величества в Петербурге, я много видел и слышал такого, о чем даже не мог и думать. Но самое замечательное из всего того, что я видел, это – вы сами, ваше императорское величество.

– Почему? – спросила Екатерина Алексеевна. – Неужели вас удивляет, что у женщины хватило смелости выполнить те обязанности, которые требуются положением, занятым ею по воле Провидения?

– Нет, меня поражают не смелость, не воля, – возразил Дидро, – многие люди обладают и тем, и другим; но я преклоняюсь пред силой человеческого духа, могущей перевернуть весь мир. Поверьте, ваше императорское величество, что вся Европа удивляется вам, а Франция, может быть, больше всех; но там никто не может представить себе то, что я видел сейчас. Могущественная государыня, пред которой трепещут властители великих держав половины Европы, взрывает корабль, чтобы дать художнику материал для картины, заставляешь южные плоды созреть на далеком севере и щедрой рукой предлагаешь их другу, осмеливающемуся говорить ей откровенно о правде и свободе; наконец она пишет книги для воспитания молодых девушек... Это действительно поразительно, ваше императорское величество, этого еще никогда не было на свете! Та Семирамида, с которой сравнивают вас, не могла сделать ничего подобного, хотя слава о ней сохранилась в течение целого тысячелетия.

– Как это сравнение ни лестно, – заметила Екатерина Алексеевна, – но я не хотела бы походить на Семирамиду: она была побеждена и бежала от своих врагов, меня же никто не победить и я никогда не спасую пред врагом.

В полном изумлении смотрел философ на государыню и ему в этот момент казалось, что над головой императрицы витает гений победы, обдавая ее необыкновенным блеском.

– Ваше императорское величество, – начал Дидро, схватив руку Екатерины Алексеевны и смотря ей прямо в глаза, – Семирамиду ее подданные обоготворяли, хотя она во всю свою жизнь только и делала, что нагромождала камни на камни, принося в жертву своей фантазии тысячи человеческих жизней. Теперь смертных не сравнивают с богами, но вполне от них зависит создать себе венец бессмертия. Народ стремится к свободе, он жаждет сбросить с себя оковы векового рабства. Полная свобода принадлежит будущему; много времени пройдет, пока слово и мысль повсюду станут свободными, пока народ, управляемый своими собственными законами, перестанет подчиняться произволу. Все мы – апостолы свободы и большинство французского народа за нас; но наш властитель слеп и глух к народным требованиям; он думает сковать будущее ржавыми цепями прошедшего. Но это не удастся сделать. Цепи рухнут, свобода одержит победу, хотя после долгой кровопролитной борьбы и, в конце концов, луч света загорится после страшной, жестокой бури. Здесь, ваше императорское величество, в вашем необозримом государстве, дело обстоит иначе; ваш народ не озлоблен, не жаждет мести. Со ступеней трона в темную народную массу льется яркий свет свободолюбия; народная жизнь может развиваться мирно и свободно. В ваших руках, ваше императорское величество, находится великое дело. Вы хотите просветить свой народ, вы несете пред ним источник свита: дайте же ему свободу, сбросьте с него цепи рабства! Тогда вы, ваше императорское величество, совершите Божеское дело, вы сделаете для своих подданных больше, чем сделал Прометей, похитив огонь с неба. Освободите рабов и ваше имя будет вечно сверкать неугасимым светом на небесах.

– Что же мне еще предпринять, мой друг, для того, чтобы совершить такое великое дело? – спросила Екатерина Алексеевна. – Я стою за правосудие; мною усовершенствованы суды. Теперь я работаю над изданием законов справедливых и милостивых. Только этими законами и будет ограничиваться свобода моих подданных.

– Все это прекрасно и очень важно, ваше императорское величество, – возразил Дидро, – но это – еще далеко не свобода. Самые мудрые и мягкие законы не предохраняют народа от произвола, так как властитель в любой момент может отменить тот или другой закон. Свобода там, где сам народ создает закон, где имеет право следить за точным выполнением его, где народ имеет право выражать свои пожелания. Посмотрите на Англию, которая нашла возможность присоединить к блеску и могуществу монархии народную свободу, давшую новые, свежие силы государственному организму. Правда, что это произошло после кровавой революции; но в России, ваше императорское величество, всего можно достигнуть мирным путем и в ваших руках показать этот первый пример.

– Вы предлагаете мне учредить русский парламент? – спросила Екатерина Алексеевна, стараясь удержать улыбку, от которой дрожали углы ее губ, но она быстро овладела собой и снова приняла серьезное выражение лица, выслушивая затаенные мысли французского философа. – Да, это – великая мысль, – воскликнула она, когда Дидро окончил свою речь, – я чувствую, точно внезапный свет осветил меня. Вот преимущество одаренных Богом людей: они освещают нам нашу собственную душу и указывают верный путь. Вы правы, я серьезно подумаю над вашими словами. Русский народ не должен отставать от других и конечно свобода является естественным правом каждого человека. Я соберу вокруг себя лучших представителей народа, пусть они сами рассмотрят изданные мною законы, которые войдут в силу только после их одобрения.

– Тогда, ваше императорское величество, – воскликнул Дидро, прижимая руку государыни к губам, – ваш народ первый на всем континенте вступить на путь цивилизации и покажет пример Франции; я говорю это с сожалением для себя, но и с восхищением пред вами. Будущие поколения с большим почтением станут упоминать имя Екатерины Великой, сумевшей подняться выше других монархов и подарившей своему народу желанную свободу.

В этот момент вошел гофмаршал и доложил:

– Приглашенные вашего императорского величества уже в сборе.

– Пусть войдут! – приказала императрица.

Дидро поднялся, чтобы откланяться, но Екатерина Алексеевна удержала его за руку.

Вошедшие в салон почетные гости, в блестящих костюмах, сверкавшие бриллиантами и орденами, были поражены, увидев свою могущественную императрицу сидящей на диване рядом со скромным старичком. Ученый философ, в глубине души глубоко польщенный вниманием государыни, старался под равнодушным видом скрыть чувство удовлетворенного тщеславия.

Глава 9

Первым вошел в кабинет Потемкин, хотя в зале было немало лиц, которые по годам и чину были выше генерал-адъютанта императрицы. При входе своего любимца Екатерина Алексеевна слегка вспыхнула и окинула стройную фигуру блестящего генерала восхищенным взглядом. На почтительный поклон Потемкина она ответила милостивым наклоном головы повелительницы, но в ее взоре сверкало радостное приветствие любящей женщины.

– Позвольте представить вам моего преданного слугу, – обратилась она к Дидро, указывая на Потемкина, но, заметив, что брови последнего слегка нахмурились, поспешила прибавить, – и моего лучшего друга. Вы до сих пор еще не видели Григория Александровича Потемкина, он только сегодня вернулся со своими храбрыми солдатами, одержав славную победу. Господин Дидро, самая первая звезда среди французских ученых, – сказала она затем Потемкину, – он – мой дорогой гость и друг.

– Ваше императорское величество, вы напрасно изволили мне пояснить, кто такой господин Дидро, – заметил Потемкин. – Хотя я в течение многих лет был на дальней окраине государства, сражаясь с восточными варварами, тем не менее, я не позабыл имени величайшего французского философа, обладающего самым ясным и светлым умом в Европе. Я не сомневался, что обладатель такого выдающегося ума будет другом моей всемилостивейшей государыни и почувствует себя счастливым в качестве гостя Екатерины Великой.

Императрица несколько раз кивнула головой, выражая свое одобрение, довольным взором смотрела на Дидро, наблюдая за тем, какое впечатление производят на философа ластивые слова ее генерал-адъютанта.

– Этот человек поймет ваши мысли, – прошептала она Дидро, – он будет для меня опорой в проведении великого дела.

– Россия счастлива, имея такую государыню, – сказала Дидро, – а вы, ваше императорское величество, можете быть еще счастливее, что на вашу долю выпала такая прекрасная задача и что у вас есть превосходные помощники для выполнения ее.

При этих словах Дидро поклонился Потемкину любезнее, чем обыкновенно кланялся другим. Присутствующие гости с удивлением и молчаливым неудовольствием следили за этой странной беседой, как бы нарочно затеянной для того, чтобы в еще более выгодном свете представить высокомерного любимца.

Императрица взглянула на Потемкина, на мундире которого висел орден Георгия Победоносца третьей степени.

– Хотя вашу грудь, Григорий Александрович украшает лучший орден храброго солдата, – проговорила она, – но ваша государыня думает, что этого мало для такого отважного генерала, каким вы себя показали. Примите от меня, в знак благодарности, орден благоверного князя Александра Невского. Я очень рада, что количество кавалеров этого почетного ордена, таким образом, увеличится.

Екатерина Алексеевна сделала знак пажу, ставшему возле нее при входе гостей.

Потемкин глубоко поклонился и произнес несколько слов благодарности, но его лицо не выражало особенной радости; наоборот, на нем скорее виднелось скрытое неудовольствие. Высокомерному генералу было неприятно, что в присутствии всего двора ему жалуют лишь орден второй степени, тогда как у многих, не говоря уже о Григории Орлове, были ордена более высоких степеней.

Паж между тем принес футляр с орденом. Потемкин стал на колена пред императрицей и Екатерина Алексеевна украсила его широкой красной лентой. Ее рука нежно скользнула при этом по его плечу, а голова так низко склонилась к нему, что губы императрицы почти коснулись лба Григория Александровича.

– Красный цвет означает любовь, а голубой – обещает верность! – прошептала она так тихо, точно пронеслось дуновение ветерка.

– Его императорское высочество великий князь! – доложил гофмаршал.

Неверными, колеблющимися шагами вошел в зал великий князь Павел Петрович, одетый в мундир Павловского гренадерского полка, и торопливо направился к Екатерине Алексеевне.

Он поцеловал руку матери, поспешно произнес какое-то приветствие, на которое последовал ласковый ответ Екатерины Алексеевны, и беспокойно оглянулся кругом, ища кого-то глазами. Он только что хотел обратиться с каким-то вопросом к графу Разумовскому, но в это время снова распахнулись двери и в зал вошла ландграфиня Гессен-Дармштадская, под руку с графом Паниным.

Рядом с ней шла принцесса Вильгельмина. На ней было чрезвычайно простое белое шелковое платье и поражало отсутствие каких-либо украшений и драгоценных камней. Лишь несколько цветков из букета, присланного цесаревичем, было приколото в ее волосах и на груди; остальные цветы, все еще перевязанные Анненской лентой, она держала в руках.

За ними следовали остальные две принцессы. Они были внезапно отодвинуты матерью на второй план и, чтобы вознаградить себя за это, постарались украсить себя всеми драгоценностями, которыми только в состоянии были располагать.

Императрица поднялась при входе владетельных особ и протянула руку ландграфине, между тем как цесаревич приблизился к своей матери, чтобы приветствовать принцесс.

Екатерина Алексеевна посмотрела на принцессу Вильгельмину с некоторым удивлением, недовольно сдвинув брови.

– Я должна выразить вам похвалу, принцесса Вильгельмина, – холодно и строго произнесла она, – да то, что вы явились ко мне в таком необычайно простом наряде. Вы могли бы служить моделью для одной из пастушеских изделий Ватто; но конечно принцесса со столь высокими личными свойствами, как вы, имеет право пренебрегать всякими внешними украшениями, – добавила она с легкой, но заметной иронией.

– Я никогда не решилась бы, ваше императорское величество, – возразила принцесса, – предстать пред вами в таком простом наряде, но, – продолжала она, между тем как ее мать бросила на нее испуганный и негодующий взгляд, – я ношу украшение, которое для меня так дорого, что рядом с ним всякое другое потеряло бы свою ценность. Эти цветы присланы мне его императорским высочеством; они перевязаны почетной лентой ордена св. Анны... Какой драгоценный камень может сравниться с таким роскошным даром?

Цесаревич покраснел от радости; он поцеловал руку принцессы, но затем снова отступил назад, за кресло императрицы, которая сначала удивленно посмотрела на сына и принцессу Вильгельмину, а затем, видимо обрадованная, устремила вопросительный взор на графа Панина, который ответил ей глубоким поклоном.

– В таком случае, принцесса, ваше украшение конечно драгоценно, – улыбаясь, ответила императрица. – Цветы из рук моего сына могут сравниться с бриллиантами, коль скоро ценность их переживает короткий период расцвета.

– Да будет это так! – с живостью воскликнул цесаревич, – и если позволит моя всемилоостивейшая родительница, то я прошу принцессу принять цветы и ленту, как символически знак герцогства Голштинского, которое я ныне могу принести к ее ногам, до того времени, когда...

Он запнулся, испуганно и робко взглянув на свою мать.

– До того времени, – с покойным достоинством промолвила Екатерина, – когда тяжелое бремя управления Российским государством перейдет к моему сыну, после того как я выполню свое земное назначение, указанное мне Богом. Я радуюсь выбору своего сына, – продолжала она, – и от всего сердца приветствую вас, принцесса Вильгельмина, как свою дочь; я иду навстречу вам со всей моей материнской нежностью и надеюсь, что вы сохраните ее за собою.

Принцесса преклонила колено пред императрицей. Екатерина Алексеевна приподняла ее, заключила в объятия и поцеловала в обе щеки. Затем она обняла и ландграфиню, которая сияла счастьем, видя осуществление своих самых смелых надежд и честолюбивых грез.

– Я представляю моему двору ее высочество принцессу Вильгельмину, невесту моего возлюбленного сына, наследника престола и великого князя Павла Петровича, – произнесла императрица весьма торжественным тоном, полным царственного достоинства и величия, столь присущих ей при соответствующих обстоятельствах. – С завтрашнего дня принцесса начнет воспринимать вероучение нашей святой православной церкви; с нынешнего же дня я предписываю оказывать ей все почести, приличествующие обрученной невесте моего сына, занимающей второе место после меня при моем дворе. Разрешаю здесь присутствующим принести высоконазначенной чете всеподданнейшие поздравления, завтра же, после официального обручения, последуют поздравления всего придворного штата.

По знаку государыни, цесаревич подал руку принцессе Вильгельмине, а императрица и ландграфиня отступили и встали позади молодой четы. Две другие принцессы печально и смущенно стали в стороне; они понапрасну надели все свои драгоценности; никто не обращал на них внимания, так как на них не возлагалось больше никаких надежд и ожиданий. Их сестра была вознесена на головокружительную высоту, а им оставалось только вернуться домой и продолжать тихую и уединенную жизнь скромного двора, быть может, с перспективой отдать впоследствии руку какому-нибудь незначительному владетельному принцу, при дворе которого они будут стараться копировать в миниатюре манеры и обычаи Версаля и Петербурга.

Придворные начали дефилировать пред высоконазначенными женихом и невестой, и хотя последние в эту минуту и составляли центр всей церемонии, но, тем не менее, глубокие поклоны всех кавалеров и дам гораздо более относились к императрице, нежели к цесаревичу и принцессе; каждый остерегался выказать наследнику слишком большую почтительность и участие и всем своим обликом старался доказать, что, несмотря на приказ всемогущей монархини, никто не в состоянии хотя бы на минуту затмить собою это блестящее светило.

Позади Екатерины Алексеевны стоял Потемкин, могучая фигура которого высоко возвышалась над императрицей и казалась еще колоссальнее вследствие гордо поднятой головы. Он высокомерно глядел на дефилирующих государственных и придворных сановников, которые, казалось, столько же склонялись пред ним, как и пред императрицей.

Рядом с Потемкиным стоял Дидро в своем скромном сером костюме; его взоры точно так же гордо были устремлены на склоняющуюся толпу придворных, но этот столь ревностный проповедник принципов всеобщего равенства, по-видимому, с особенным удовольствием занимал привилегированное место позади могущественной самодержавной владычицы, пред которой преклонялась и трепетала вся Европа. Дидро снисходительно смотрел на подобострастные поклоны кавалеров и дам, которые в высшей степени мало разделяли его теорию равноправия всего человечества.

Еще до окончания придворной церемонии в комнату вошел, никем не замеченный, небольшого роста, скромного вида человек и остановился в дверях зала. Ему было на вид лет шестьдесят; его бледное лицо носило следы усиленной умственной работы. На нем был простой, но элегантный черный шелковый костюм, затканый серебром; манеры его несколько угловатой и худощавой фигуры хотя и не обличали придворного лоска, но были полны спокойной уверенности, которую придает людям сознание собственного достоинства и умственного превосходства.

Зоркий взгляд императрицы тотчас же открыл в толпе нового пришельца, который, казалось, с некоторым удивлением глядел на происходившее кругом. По ее приказанию, паж приблизился к скромному незнакомцу и подвел его сквозь всю толпу к императрице, которая, отойдя несколько в сторону, вполголоса углубилась с ним в беседу.

Общество пришло в некоторое замешательство; каждый старался мысленно объяснить себе это новое явление и даже окидывал беспокойным и испытующим взглядом незнакомца, который поглощал все внимание императрицы, хотя Потемкину этот незнакомец своим внешним видом менее чем кому-либо, мог внушить опасение соперничества.

Наконец, церемония окончилась; все присутствующее выразили молодой чете пожелания счастья и расположились широким полукругом пред царственными особами.

– Граф Никита Иванович, – обратилась императрица к Панину. – Вы позаботитесь, чтобы документы, касающиеся только что совершившегося здесь счастливого события, были опубликованы завтра, в день торжественного обручения. Что касается меня, – продолжала она, между тем как Панин ответил ей низким поклоном, – то я должна исполнить одну обязанность, которая в виду этого самого счастливого события является для меня еще более настоятельной. Радость, которую вы все со мною разделяете, заставляет меня еще живее чувствовать, насколько драгоценна жизнь моего возлюбленного сына для русского государства и русского народа; не только чувство матери, но и забота государыни о будущем благе своего народа возлагает на меня обязанность оградить эту драгоценную жизнь от всякой опасности, а между тем, к моему глубокому прискорбию, таковая опасность в настоящую минуту угрожает моей столице. Оспа, которая в восточных областях покосила уже много жертв, неуклонно приближается к столице и все меры предосторожности не в состоянии были остановить роковое нашествие этой заразы; ее губительное дыхание проникает в беднейшие хижины, равно как и во дворцы, и не щадит никого, начиная от последнего нищего до наследника престола. Но Бог в своей неизреченной мудрости и благодати избрал орудие для избавления человечества от этого ужасного бича.

Все собравшиеся с ужасом внимали словам императрицы, говорившей так открыто о приближении эпидемии, которая в глазах людей того времени обладала какою-то сверхъестественной демонической силою разрушения и распространения которой до сих пор старались окружать глубокою тайной.

Все стали робко прислушиваться, когда государыня заговорила о целительном средстве; полагали, что дело идет о каком-нибудь чудотворном исцелении, так как молитвы, крестные ходы и окропление святою водою до тех пор были единственными средствами, употреблявшимися против заразы.

– Один английский врач, – продолжала императрица, – по вдохновению Божию сделал открытие, что коровья оспа, введенная в человеческую кровь, после непродолжительного и легкого заболевания делает тело недоступным для губительного яда оспы.

Упоминание о спасительном средстве вызвало среди присутствующих почти такой же страх, как и сама болезнь, от которой оно должно было предохранить; и, несмотря на почти-тельность, внушаемую присутствием императрицы, кое-где послышались восклицания ужаса при одной мысли о введении ядовитой прививки от больного животного в человеческий организм.

– Я пригласила сюда ученого доктора Димсдаля, – продолжала Екатерина Алексеевна, указывая на незнакомца, – он вполне освоился с новейшим открытием доктора Дженнера и убедил меня в целительном действии этого средства против всех заразных болезней; поэтому я решилась охранить своего сына и судьбу государства от надвигающейся грозной опасности.

На этот раз общий крик ужаса раздался в ответ на слова государыни, произнесенные ясным, спокойным голосом. Цесаревич побледнел и посмотрел на мать с мрачною угрозою, как бы обуреваемый ужасными мыслями, пробужденными в его душе могущественными темными силами. Принцесса Вильгельмина робко прикоснулась к руке жениха; даже Потемкин задрожал от волнения, между тем как Дидро озабоченно и укоризненно покачал головою.

– Ваше императорское величество, – произнес граф Панин, приблизившись к государыне, – вы возложили на меня заботу о воспитании его императорского высочества и о его

духовном и телесном благополучии; я отвечаю пред вами и всем государством за его драгоценную жизнь, на которой держится будущность русского народа и великих начинаний вашего императорского величества. Поэтому я не могу допустить такое посягательство на жизнь его императорского высочества!..

Екатерина Алексеевна посмотрела на него взглядом, полным царственного величия, и сказала:

– Я прощаю вам вашу смелую речь, граф Никита Иванович, так как она внушена вам верною преданностью мне и моей семье, преданностью, которую вы постоянно доказывали мне. Я убедилась, что целебное средство – не безумный риск, но верное спасение; доктор Димсдаль объяснил мне, как совершается опыт; я поняла его объяснение и поэтому верю ему.

– А я, ваше императорское величество, – сказал доктор Димсдаль по-французски с сильным английским акцентом, – ручаюсь вам головою за благополучный исход!

– Что значит голова какого-то чужеземца, принятая в заклад за жизнь великого князя и будущность государства!.. – произнес граф Панин, пожимая плечами.

– Вы правы, Никита Иванович, это не может служить достаточною порукою. Я решила оградить своего сына и наследника и весь мой народ от разрушительного действия страшной заразы, которая сгубила уже тысячи жертв; я убеждена, что средство доктора Дженнера предохраняет от нее. Но вы правы, граф Никита Иванович, – воскликнула она со сверкающими взорами, – голова чужестранца не может идти в залог за жизнь моих подданных, за жизнь цесаревича; императрица сама должна исполнить то, что она повелевает своему народу; мать, предлагающая своему сыну целебное средство, должна прежде сама испытать его. Я прикажу сделать себе прививку доктора Дженнера, в пользу которой я убеждена, и, лишь после того, как я лично на себе испытаю ее благотворное действие, попрошу и моего сына последовать моему примеру, и прикажу всему своему народу избавиться таким простым путем от смертоносной заразы!

– Это невозможно, ваше императорское величество, совершенно невозможно! – воскликнул Панин. – Вы хотите подвергнуть свою жизнь такой опасности? Этого не должно быть, это должен решить правительствующий сенат; я уверен, что это высшее правительственное учреждение торжественно воспротивится подобному решению. Ваше императорское величество! Ваше доблестное самоотвержение не знает границ, – прибавил он, склоняясь пред гневными взорами императрицы.

– Сенат? – воскликнула Екатерина Алексеевна. – Но если бы я была мужчиной и могла так же смело владеть мечем, как твердо я держу скипетр, и если бы я повела свое войско в кровавый бой – скажите мне, граф Никита Иванович, разве в этом случае сенат, опасаясь за мою жизнь, вздумал бы удерживать меня, хотя бы я повела на смерть тысячи своих подданных? Сенат прославил бы геройское мужество полководца, а теперь, когда я хочу поставить на карту свою жизнь для спасения тысяч людей, неужели сенат решится воспротивиться моей воле?

– Нет, ваше императорское величество, нет, это невозможно! – в свою очередь, воскликнул Потемкин. – Что, если заблуждается тот врач, который еще не применил своего изобретения в своем отечестве?

– Нет, он не заблуждается, – возразила императрица, ласково взглянув на взволнованное лицо Потемкина, – он не заблуждается, так как на себе самом испытал верность своего средства. Поверьте мне, Григорий Александрович, – прибавила она, положив свою руку на руку Потемкина, – поверьте, что я ради какого-нибудь безумного предприятия не решилась бы легкомысленно рисковать своею жизнью, которая сулит мне еще много-много счастья и осуществление массы блестящих надежд. И если Европа, которая так превозносится над нами, питает суеверный страх пред этим благотворным открытием, то пусть она теперь узнает, что русская императрица не колеблется, когда ей с помощью просветительной науки предстоит избавить свой народ от губительной язвы.

Потемкин молча склонил голову.

Императрица говорила тоном, не допускающим возражения.

– Ваше императорское величество, – произнес Панин, – ваше намерение великодушно и возвышенно, и я уверен, что и сенат выразит вам свое восхищение; но все-таки я нахожу полезным предложить ему, чтобы сначала лучшие врачи нашего государства исследовали это дело и уже после результатов его...

– Все врачи Европы до сих пор были бессильны в борьбе с оспой, – перебила его государыня, – и их суждение не имеет в моих глазах никакой цены; если же сенат помнит свои обязанности, то он должен последовать моему примеру. Доктор Димсдаль, готовы ли вы?

– К вашим услугам, ваше императорское величество! – ответил доктор, вынимая из кармана небольшой футляр с хирургическими инструментами.

Крик ужаса пронесся по залу. Цесаревич бросился к своей матери с распростертыми руками, Панин загородил дорогу врачу, а Потемкин, забыв в этот миг все правила этикета, схватил императрицу за руку.

Екатерина Алексеевна тихонько высвободила свою руку, гордо выпрямилась и заговорила таким строгим тоном и с таким повелительным взглядом, что все присутствующие робко замерли:

– Я объявила о своем решении; кто осмелится противиться воле государыни? Григорий Александрович, подайте мне кресло!

Потемкин молча придвинул ей кресло.

Императрица села и легким, грациозным движением откинула кружевной рукав платья. Доктор Димсдаль вынул из футляра маленький граненый флакончик с жидкостью, омочил ею кончик длинного, тонкого ланцета и затем, к ужасу всех присутствующих, погрузил блестящее острие в белую и полную руку императрицы.

По залу пронесся лишь один глубокий вздох.

Панин стоял пораженный, скрестив руки на груди; ландграфиня Гессенская в изнеможении оперлась на руки дочерей. Дидро, высунувшись вперед, с любопытством следил за операцией. Цесаревич схватил руку Разумовского и, дрожа от страха, глядел на императрицу; Потемкин опустился на одно колено и поддерживал руку государыни, между тем как доктор вторично смачивал острие ланцета.

– Я думала, что это причинить боль, – заметила императрица с ясной улыбкою при виде маленькой едва заметной капли крови, появившейся на белой поверхности ее кожи. – Продолжайте, доктор!..

При гробовом молчании окаменевшего от ужаса общества доктор Димсдаль погрузил еще-семь раз ланцет в руку императрицы. Затем он отступил с молчаливым поклоном.

Государыня поднялась с места, опустила рукав и осведомилась:

– Сколько времени надо ждать действия прививки, доктор?

– Восемь или девять дней, ваше императорское величество, – ответил Димсдаль.

– А какой следует мне вести образ жизни, пока оспа не выйдет наружу?

– Соболаговолите, ваше императорское величество, пока продолжать ваш обычный образ жизни, в дальнейшем достаточно будет ограничиться простой диетой и некоторыми средствами для уменьшения жара.

– Хорошо! – сказала Екатерина Алексеевна. – Я надеюсь, – прибавила она, гордо оглянувшись кругом, – что сегодня я ценою лишь нескольких капель крови выиграла сражение в борьбе с врагом, дотоле непобедимым, и в продолжение столетий бывшим бичом моего народа.

– Клянусь Богом, ваше императорское величество, – воскликнул Дидро, улыбаясь и со свойственной ему непринужденностью дотрагиваясь до плеча императрицы, – я удивляюсь вам; сознаюсь откровенно, у меня никогда не хватило бы мужества так смело играть со смертию.

– Итак, – ответила императрица, – вы убедились здесь, в России, что и монархини, о которых вы, к сожалению, кажется, не слишком блестящего мнения, иногда обладают сознанием долга и мужеством исполнить его.

Цесаревич сжал руку Разумовского и дрожащим голосом прошептал:

– Я никогда не решился бы на это, Андрей Кириллович, никогда, Бог – свидетель! Неужели же мне оспаривать престол у такой женщины, которая вдобавок моя мать? Даже древние великие герои, которыми мы восторгаемся, не могли бы совершить больший подвиг! – И, целуя руку матери, он воскликнул: – благодарю вас, ваше императорское величество, благодарю от лица моей родины. Теперь же да будет и мне дозволено сделать опыт, дабы моя доблестная родительница не слишком превзошла меня в своем великодушии!

– Нет, нет, сын мой! – возразила императрица, – я не могу подвергнуть опасности твою жизнь, за которую так трепещет граф Панин, до тех пор, пока не обнаружатся результаты произведенного надо мною опыта; моя жизнь возместима, твоя же нет.

– Что же касается меня, ваше императорское величество, – воскликнул Потемкин, – то я желаю немедленно произвести над собою этот опыт; я требую этого как доказательство милости вашего императорского величества. Операция может произвести в мужском организме иное действие, и если вы, ваше императорское величество, желаете вполне обезопасить жизнь цесаревича, то разрешите произвести этот опыт над мужчиною.

Он засучил рукав мундира и приблизился к доктору Димсдалю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.